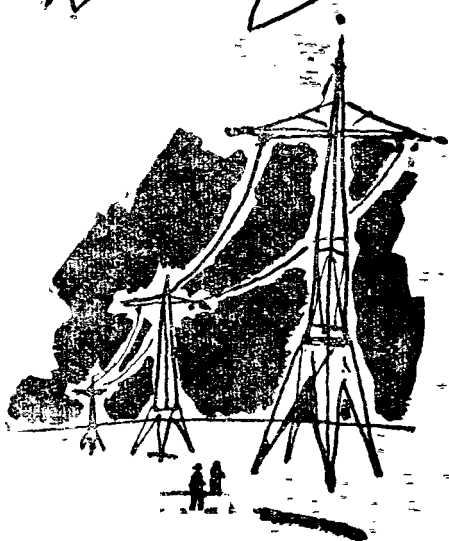


В. ТЕНДРЯКОВ

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

ПОВЕСТЬ



АТЕЛЬСТВО „СОВЕТСКАЯ РОССИЯ“ МОСКВА—1962

ЧИТАТЕЛЮ О КНИГЕ

Всего четыре часа длятся события повести «Короткое замыкание». Накал событий ошеломляющ. В драматических ситуациях сталкиваются характеры. Ломаются судьбы людей, определяется истинная ценность каждого.

Как и предыдущие произведения В. Тендрякова, повесть «Короткое замыкание» по-настоящему современна. Писатель поднимает важные морально-этические проблемы, заставляет думать над жизнью, зовет к истинному гуманизму.



Часы над входом в городской главпочтамт, массивные часы на башне вокзального здания, уличные часы на фонарных столбах, будильники и ходики по квартирам — все показывают без десяти минут восемь вечера.

Реденький сухой снежок с ленцой, буднично сыплется на город. А город раскален, объят огнем. Гирлянды из лампочек, арки, разноцветные каскады по стенам. Беззвучно взрываются надписи «С Новым годом!». И вместе с надписями багровыми всполохами вспыхивают заснеженные крыши.

Сеется безразличный снежок на раскаленный, пульси-

рующий, пляшущий город. Падают сухие снежинки на широкие лапы елей. Они, стоящие посреди площадей, словно осыпаны раскаленным углем.

Снег опускается на прохожих. Никто не замечает его: все ослеплены, опьянены, возбуждены, одержимы. Все спешат скорей скинуть последние дела, скорей сделать последние покупки!

В магазинах толчея.

— Водки — четыре пол-литра... Красного вина... Шампанского...

— Лихо встречаем.

— Если б встреча, а то и проводы. Старый год на Новый меняем.

— Водка, коньяк, шампанское...

Тают на меховых воротниках шуб, на шапках, на бровях снежинки.

Парки и городской стадион заполнены школьниками. Новый год приходит поздно, ребятишкам к этому времени положено спать, не пропускать же праздник, можно и раньше взять свое. Стоят, как и на площадях, мощные ели в красных, зеленых, синих, лиловых огнях. Коньки режут цветной лед. Сам почтенный Дед-Мороз (один из первых Дедов-Морозов, что скоро появятся в этом городе) тоже на коньках. В лучах прожекторов, серебрищихся от снежной пыли, — карусель из конькобежцев. Мечутся тени. Гремит музыка...

В оперном театре будет молодежный костюмированный бал...

В клубе университета скоро начнет гулять студенчество...

Во дворце завода «Красный инструментальщик» тоже готовится бал-маскарад...

Лучший в городе ресторан «Восход» закрыл для посетителей один зал. В этом зале вместе со встречей Нового года будут чествовать приезжего гостя. Он прилетел в

нашу страну из-за океана две недели назад. Новый год застал его здесь...

Часы показывают без десяти восемь... В огнях путаница снежинок...

2

В это время на квартиру управляющего энергосистемой Ивана Капитоновича Соковина уже съезжались гости.

В Новый год за стол садятся в двенадцать часов, но у хозяина свои взгляды: плохо, если только стол роднит людей, вечер свободный, можно собраться пораньше, потолкаться, поболтать, потанцевать, не должно быть скучно и до выпивки. Гостям наказано: приезжайте сразу же, как только освободитесь. Без десяти восемь, а в прихожей раздаются первые звонки. Сам хозяин бросается открывать двери.

— Игнат! Ого! Ты, брат, вельможей выглядишь. Снимай скорей свою боярскую шубу... А Ленка-то, Ленка! Гляди, как цветет! Э-э, нет, голубушка, шалишь! Не отворачивайся, подставь щечку... У-у, строга, строга, трепещу и отступаю...

Иван Капитонович плечист, грудаст, короткорук, подвижен, как резиновый мячик. Он победно носит густую пепельно-седую шевелюру, бровастое крупное лицо красиво тяжелой мужской красотой.

Управляющий энергосистемой... По своему положению он должен бы чествовать заморского гостя, но уклонился от приглашения. На то были свои причины.

Во-первых, целый год он был в ссоре со своим сыном, не встречался с ним, не разговаривал. Три дня назад произошло примирение. Стоило отпраздновать Новый год вновь обретенным миром в семье.

А во-вторых, его сын Вадим утром отвез молодую жену в роддом.

Днем Вадим закупил цветов, топтался у подъезда род-
дома, надоедал: «Когда? Как себя чувствует?» — пока
ему клятвенно не пообещали позвонить сразу же, как
только роды окончатся.

Сейчас букет оранжерейных роз стоял на ослепитель-
ной скатерти посреди стола, зеленью листьев и неестест-
венным великолепием цветов лишний раз напоминая, что
за темными оконными стеклами мороз, сыплет снег, зима
в полном разгаре. Вадим же, сутулясь, стиснув руки ко-
ленями, сидит рядом с телефоном.

Ему двадцать девять лет, работал главным энергетик-
ом большого химического комбината.

Отец и сын очень походили друг на друга, но так, как
походит фотографический негатив на свой позитивный
отпечаток. Вадим такой же, как и отец: невысокий, плот-
ный, такая же крупная голова, но волосы светлые, нет
размашистых отцовских бровей. У отца лицо крепкой
чеканки; у сына оно мягкое, щекастое. Отец порывист,
непорист; сын склонен к задумчивости, на первый взгляд
может показаться вялым.

Вместе с Вадимом ждет обещанного звонка его теща
Бронислава Семеновна, полная, застенчивая женщина,
простоватое и утомленное лицо которой никак не подхо-
дит к ее праздничному платью из радужной, словно бен-
зиновая пленка на луже, тафты. Сидит она скованно, так
как ее платье нескромно шуршит, но с тихим увлечением
рассказывает Вадиму:

— Галочка у нас родилась слабенькой, из пипетки
кормили. Одно время думали: выживет ли? А через год
никто и поверить этому не мог: толстушка, шаловница,
глазенки умненькие. А характерец и тогда уж норовис-
тый...

В тихом голосе робкое недоумение. Та Галочка, что
родилась слабенькой, которую кормили из пипетки, те-
перь сама рождает,

Идет время, течет человеческая жизнь. Через четыре часа Новый год, и в этом году будет жить новый человек, завяжется новая судьба — удачливая или не удачливая, кто знает.

Вадим слушает Брониславу Семеновну, стискивает ладони коленями. Когда же позвонят? Через минуту? Через час? Через два часа? Это хоть и недалекое, но будущее, его тайны до срока святы.

3

Пришли главный инженер Игнат Голубко с дочерью. Голубко большой, толстый, парадный, в черном костюме и накрахмаленной сорочке. Дочь — десятиклассница Лена, или, иначе, Елочка; из пышной, воздушной юбки — узкоплечее, худенькое тело, обремененное копной волос, из-под волос — два разверстых глаза, готовые сейчас же восторгаться или ненавидеть со всей непримиримостью неполных семнадцати лет.

Он, кивнув всем головой, отдуваясь, повалился на стул. Она увидела на столе цветы, и брови ее дрогнули.

— Это для Галки?

Подошла к Вадиму, заглянула в лицо, тихо спросила:

— Ты волнуешься? — Села рядом.

Вадим с рождения знал Елочку. Она часто полушутя-полусерьезно называла его братом.

У Игната Голубко три года назад умерла жена, и он в свободное от работы время не отпускал дочь от себя. Даже вместе с ней ходил на вечеринки, слушал, как спорила молодежь, молчал, пил коньяк, который приносил для себя, смотрел с прищуром: «Э-э, чем бы ни тешились...»

Иван Капитонович подтолкнул Игната.

— Отстаешь, брат: я без пяти минут дедушка. Хотя

не унывай, скоро догонишь. Твоя долго не засидится в девках.

— Учи плясать валенок! — проворчал Голубко. — Чего доброго, возьмет да и выскочит.

Бронислава Семеновна, сидевшая у телефона, вздрогнула. Но телефон молчал, звонили в дверь. Иван Капитонович пружинящей походкой ринулся в прихожую.

Через минуту он ввел нового гостя, начал представлять:

— Игната ты знаешь... А вот это мой сын, Вадим... Прошу любить и жаловать — Борис Евгеньевич Шацких...

Новый гость щурился от яркого света, неловко придерживал какой-то сверток под мышкой, смущенно кланялся, жал руки. Был он немного горбат, но не настолько, чтобы это выглядело уродливым. Костюм из темносиней жатки ловко сидел на нем, из рукавов выглядывали белоснежные манжеты; курчавая шевелюра, правильное смуглое лицо — по-своему красив.

Иван Капитонович любил выдвигать людей из гущи. Совсем недавно Борис Евгеньевич Шацких был простым экономистом, рядовым служащим планового отдела. Со старым начальником этого отдела Иван Капитонович не ладил, тот раньше времени ушел на пенсию, и никто не думал, что его место займет Шацких. Иван Капитонович захотел этого, Иван Капитонович, повысив, стал превозносить его на совещаниях. Иван Капитонович в знак высшей к нему симпатии пригласил сегодня на семейный праздник.

— Надя! — крикнул Иван Капитонович. — Иди познакомься!

В дверях появилась Надежда Сергеевна, жена Ивана Капитоновича, рослая, румяная от плиты, с обнаженными полными руками.

— Рада вас видеть. Ой, да что это?

— Простите, думаю, будет не лишним за столом.

— Вино? Да мы столько его накупили...

— Коньяк сверхособенный, французская марка... — Шацких заливался краской от смущения.

На выручку пришел Игнат Голубко:

— Бери, не отказывайся. Французский коньяк — редкая в наших краях птица.

— Ну, братцы, поспразднуем, — потирал руки Иван Капитонович. — Все свои. Второй будущий дедушка задержится на дежурстве. Но к Новому-то году наверняка поспеет... Новый год! А что это за праздник, разрешите вас спросить? Человечество чувствует великого бога — Время! Вре-мя! Что важнее этого?

— А ведь верно, — подхватил Шацких, — каждый праздник — в какой-то мере веха времени, но целиком времени, без каких-либо других причин, посвящена лишь встреча Нового года.

— Мне больше всего нужно, чтоб у меня впереди было время. Сейчас мне пятьдесят пять лет...

— Уточним: пятьдесят шесть на носу. Не молодись, мы одnogодки, — подсказал со своего стула Игнат Голубко.

— Верно. Пятьдесят шестой, а нужно, чтоб был пятьдесят седьмой, пятьдесят восьмой, шестидесятый... Если они у меня будут, то все остальное приложится. Была бы жизнь впереди, а ее устроить сумеем. Было бы впереди Время. Отпразднуем на всю катушку именины великого бога.

— Для нас с тобой — грустный праздник, — снова вставил Голубко.

— Почему же?

— Да потому, что твой и мой великий бог шествует, сукин сын, не к молодости, а к могиле. Радости мало.

— А я, брат, не хочу обратно в молодость. Считаю, что прожил жизнь весьма удачно. Повторять ее опасно.

Я нашел себя, а мог бы и не найти. Мог вместо энергетика стать, скажем, продавцом газированной воды или пива, недоливать, выколачивать копейку, обзаводиться хозяйством. Если великий бог Время служит мне, то есть другой бог, которому верно служу я. Этот бог — энергетика! Без него мы все — кроты, ковыряющиеся в темноте. Он — люстра под потолком, он — станок, который ткёт отрезы на штаны! Он многолик и вездесущ, этот бог. И я — его слуга и хозяин!

Иван Капитонович стоял посреди комнаты, широко расставив ноги на паркете, краснолицый, плотный — мужицкая кость. Вадим, сидевший у телефона, глядел на отца исподлобья.

— Слуга и хозяин люстры? — произнес он.

Иван Капитонович резко обернулся.

— Люстр, настольных лампочек, уличных фонарей, высоковольтных линий, турбин, генераторов, котлов, трамваев, электричек, станков на заводе — разве этого мало? Не проси меня перечислять, иначе мы не успеем отпраздновать Новый год.

— Мало.

— Ах, я не упомянул — любовь к человеку! Да здравствуют высокие слова! А слова остаются словами. Моя любовь в машинах, она весома, вещественна.

— Машины эту весомую любовь еще могут выносить, они железные, а люди гнутся.

Иван Капитонович тягуче поглядел в упор на сына; Вадим сидел нахохлившись, сжимая круглыми коленями руки, выставив вперед выпуклый, упрямый лоб.

На минуту в комнате наступило неловкое молчание. Все понимали, что сейчас невольно прорвался давнишний, длящийся, верно, не первый год спор между отцом и сыном. Спор не совсем ясный для других, скрытая семейная война, быть свидетелем которой неприятно.

А на столе, накрытом сияющей скатертью, купались в электрическом свете распутившиеся розы. А в углу блестела увешанная мишурой елка, глушившая сочным и грубым запахом хвои тонкий аромат цветов. А из кухни доносился звон посуды... Впереди праздник, впереди торжество.

В это время зазвенел телефон, и Бронислава Семеновна с изменившимся лицом цепко схватила трубку.

— Слушаем вас...

4

Но звонили не из роддома. Звонил с дежурства муж Брониславы Семеновны, Василий Васильевич Столярский. Он тоже беспокоился за дочь, хотел знать, не окончились ли роды.

Иван Капитонович отобрал трубку.

— Как там? Все в порядке... Освобождайся и сразу же к нам. Форма одежды парадная. Без тебя не начнем. А за Галку не беспокойся, тут мы все на стреме.

— Иван Капитонович! — Распахнутые глаза Елочки глядели осуждающе. — Почему вы не подменили Василия Васильевича? У него же уважительная причина — дочь рождает.

— Он главный диспетчер, голубушка. Должен следить, чтоб не испортить людям праздник.

— Если он главный, то обязан быть уверенным: его подчиненные не подведут. А иначе он раб своей должности, а не главный.

— Ха-ха, раб должности! — Иван Капитонович, явно довольный, что спор с сыном не разгорелся, снова обрел веселое настроение. — Игнат! Энергетикой живет, а азов не знает. Пора провести объяснительную работу.

— Учи плясать валенок, — проворчал Голубко, огля-

нулся на окно, поднес к глазам часы. — Десять минут девятого, — возвестил он.

Иван Капитонович, Вадим, Шацких невольно подняли глаза на стену, где висели часы, потом дружно повернули головы к окну. Там за неплотно задернутыми занавесками играл праздничными огнями, шумел город. Их город, жизнедеятельное чудо, раскинувшееся по земле на много километров. Город, по ночам соперничающий со звездным небом!

Вот уже много дней город лихорадило.

Конец года — заводы и фабрики спешили поставить точку под годовым планом. Конец года — выполнение или недовыполнение, выговоры или премиальные. Конец года — гони, гони, гони, не давай передышки. Город взмылен, город в поту, он задыхается, многоголосо вопит: «Выручайте! Спасайте! Нужны киловатты! Тысячи киловатт! Сотни тысяч!» Электростанции выжимают из себя все. Конец года — близок финиш.

Так было уже много дней. Сейчас Игнат Голубко взглянул на часы и возвестил:

— Десять минут девятого.

Считай, что финиш взят, у одних — со славою, другими — бесславно. Останавливаются станки, гасятся огни в цехах, расходятся рабочие к праздничным столам. Финиш взят — город выпускает первый вздох облегчения. Еще час — и пройдет многодневный приступ лихорадки. Город успокоится и будет отдыхать. Еще час, но пока велика прожорливость города...

Десять минут девятого. Через час с небольшим на диспетчерском пункте кончится усиленная вахта. Главный диспетчер Василий Васильевич Столярский появится в этой комнате.

— С уходящим годом, друзья!

Но до звона рюмок еще почти четыре часа.

Иван Капитонович сам завел радиолу. В праздничной комнате раздались печальные звуки старинного вальса:

Тихо вокруг,
Сопки покрыты мглой.
Вот из-за туч блеснула луна.
Могила хранят покой...

В грустные минуты жизни Иван Капитонович никогда не вспоминал о музыке. Музыка для веселья, музыка для наслаждения. Но вкусы Ивана Капитоновича не шли дальше «Есть на Волге утес» и «Сопок Маньчжурии». Каждый раз, чувствуя праздничную приподнятость, он заводил этот давно всеми забытый вальс, становился сентиментальным.

— Это вам не модные побрякушки: «Марина, Марина, моя синьорина». Такую музыку хочется стоя слушать.

Он подошел к Елочке, ласково и властно взял за руку.

— Уважь старика.

И Елочка повиновалась.

Она, тонкая, легкая, с запрокинутым узким лицом, с волосами, упавшими на спину, он, широкий, плотный, сдерживающий просящуюся наружу силу, но словно разившийся ее невесомостью, поплыли по комнате, минуя стулья, обходя углы стола.

Радиолка плакала о павших героях, о покоящихся среди сопков могилах, о тенях минувшего, о чужом и далеком горе. А в светлой комнате было уютно, мерцала наряженная елка... Давняя печаль и близкий праздник — невольно испытываешь полноту минуты.

И тут радиолка запела утробным басом. На залитую ярким светом комнату навалилась темнота. Секунду были видны сквозь плошки люстры и матовые козырьки

бра багряные, еле дышащие волоски лампочек. Секунду... Но потом свет снова набрал силу, залил застывшие лица гостей, скатерть с букетом цветов, елку в блестках, снова осел, но не до темноты, а до красного закатного полумрака. Лица гостей стали бронзовыми. Радиола придуренно хрипела. Люстра под потолком натужно боролась с темнотой.

Иван Капитонович выпустил из рук Елочку, споткнувшись о стул, ринулся к телефону, а телефон, словно чувствуя его приближение, призывно зазвенел. Иван Капитонович сорвал трубку.

— Что там?..

С минуту, показавшуюся всем очень долгой, он вслушивался с окаменевшим лицом. За эту минуту свет стал устойчивым, бра по стенам и люстра под потолком заливали комнату, казалось, сильнее прежнего. Игнат Голубко подался вперед на стуле. Шацких зачарованно мигал длинными ресницами в сторону Ивана Капитоновича. Елочка посреди комнаты оправляла юбку. Вадим, вскочивший со стула, стоял навтыжку рядом с отцом. Радиола вновь приобрела членораздельность, проникновенно пела:

Плачет, плачет мать родная,
Плачет молодая жена...

Иван Капитонович слушал. Лицо его было повернуто к люстре. Медленно, еле приметно даже для опытного глаза она сдавала накал.

— Так, — обронил Иван Капитонович, бросил трубку, на каблуках повернулся к Игнату Голубко. — Новогодний подарочек. Отключились восточные линии... Машина сейчас подойдет.

Плачут все, как один человек,
Злой рок и судьбу кляня...

Толкаясь, притискивая друг друга, Иван Капитонович и Голубко натянули пальто. Дверь щелкнула за ними замком.

Вадим ринулся к телефону, торопливо набрал номер:

— Кто у телефона? Это Соковин говорит. Передайте, что на линии авария. Возможны ограничения... Останавливать? Кто же говорит, что останавливать... Да не наверняка, да может обойтись и благополучно. Неизвестно... Ах, черт! — Бросил трубку. — Вот уж воистину: пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

Секунду постоял над телефоном. Бронислава Семеновна с робостью и надеждой искала его взгляд. Не сказав ей ни слова, Вадим, по-отцовски выдвинув вперед челюсть, решительно зашагал в прихожую к вешалке.

Надежда Сергеевна, дородная, с величественной осанкой, в кухонном переднике, не спеша вошла в комнату, поставила к столу стулья, оправила скатерть, передвинула цветы, села, сложила на коленях руки, сказала, ни к кому не обращаясь:

— Что ж, подождем.

Бронислава Семеновна начала вдруг судорожно искать носовой платок:

— Роддом могут отключить... Без света... Галочка же...

— Э, брось, не отключат! А если отключат, то на минуту. И вообще все не так страшно. Я, например, родилась при лунине...

6

Несколько минут они поджидали машину.

Сейчас Голубко сидел на заднем сиденье, развалился с обычным для него флегматичным спокойствием. Иван Капитонович — рядом с шофером, лицо хмурое, вызывающе-решительное.

Плыли мимо начиненные людьми и светом автобусы и троллейбусы. Праздничные огни мигали, переливались, делали прыжки. Машины, как и люди, охваченные предпраздничной суетой, теснили друг друга.

Для сотен тысяч горожан, идущих, едущих по улице, сидящих в теплых квартирах, свет — дар природы. Он есть, он должен быть; о тех людях, кто его дает городу, почти не вспоминают.

Иван Капитонович жил в новых кварталах. Диспетчерский пункт на другом конце города. А город растрезвожен праздником, улицы полны народом, приходится останавливаться у каждого светофора.

В царское время, незадолго до первой мировой войны, на берегу реки, которая тогда еще не была закована в бетон, поставили электростанцию — пять небольших котлов приводили в движение два турбогенератора. Пять труб коптели крыши соседних домов, ток подавался в центр, к особнякам купцов первой гильдии и в губернскую управу. Тогда эта станция казалась чудом техники. Позднее ее трижды перестраивали — меняли котлы, устанавливали более мощные генераторы, станция каждый раз получала новую молодость, становилась мощнее — втрое, впятеро, в десять раз. И сейчас эта с удесятеренной мощностью станция по сравнению с новыми — пигмей. Ее уже нельзя увеличивать, держат только потому, что помогает обогревать дома соседних кварталов, благо ее котлы работают не на угле, а на газе — не коптит, не портит городской воздух.

Вплотную к ее старым стенам прислонилось трехэтажное здание с размашистыми окнами. Здесь управление, здесь диспетчерский пункт.

Сосновый столб, как береза или куст рябины, — примелькавшаяся часть пейзажа. О березе и рябине сложены песни, петь о столбах — нет, смешно, нелепо. Голый ствол, мертвящая сухость, на ржавых крюках чашечки

изоляторов, а все-таки стоило бы воспеть, не красоту — где уж, — а обилие их, вездесущность. Плебеи электро-энергетики, младшие братья высоковольтных опор, они маршируют по сугробам в лесные починки, берут приступом районные городки, бессменными сторожами торчат возле затерянных почтовых отделений и колхозных контор. Без преувеличения теперь уже можно сказать: где появляется человек, следом за ним тянет провод сосновый столб. Тянет провод — кровеносные артерии и нервные окончания одновременно. Тянет провод — приносит жизнь.

Центром опутанной проводами земли, мозгом ее — диспетчерский пункт, где дежурит главный диспетчер Василий Васильевич Столярский. Диспетчерский пункт, куда сейчас спешат Иван Капитонович и Голубко.

В городе пока что горит свет. Пока что... Нужно спешить. Иван Капитонович и Голубко молчат. Шофер гонит машину...

7

Вадим выскочил из подъезда, налетел на женщину. На мостовую шлепнулись кулек и коробка конфет.

— Извините!

Мужчина рядом с женщиной, нагибаясь за оброненными покупками, неласково посоветовал:

— Не затылком смотри...

От обочины оторвалась машина, должно быть, увозившая отца и Голубко.

Порошил скудный снежок. Город шумел. Свободой и праздничностью насыщен воздух. День кончился, а ночь сегодня отдана для веселья.

Девчата, должно быть, школьницы, взявшись за руки, идут по тротуару, теснят в стороны прохожих, поют, дурачатся:

В лесу родилась елочка...

Сами они усыпаны снегом — блестят глаза, блестят зубы.

Напротив, у витрины магазина «Гастроном», — толпа зевак. В витрине — огромная бутылка шампанского, из ее горлышка в бокал величиной с маленькое ведро бьет струя. На крыше, не устывая, вспыхивает: «С Новым годом!», «С Новым годом!», «С Новым годом!» — в зеленом, красном, синем варианте.

Щуплый старикашка с заиндевелой бородкой и в больших валенках продает елки, прислоненные к стене. Несколько часов назад их жадно расхватывали, сейчас никто не покупает: поздно. Старичок, единственная будничная фигура, притопывает на морозе, по-ямщицки похлопывает рукавицей о рукавицу.

Мужчина и женщина, у которой Вадим выбил из рук покупки, остановились возле старенького «Москвича».

— Елочку не надобно ли, гражданин хороший? Дешевый товарец — цена упала.

Метель ей пела песенку:
Спи, елочка, бай, бай...

«С Новым годом!», «С Новым годом!», «С Новым годом!» — зеленым, красным, синим!

Все спокойно, город плещет огнями, а он потащится в химкомбинат. Нет нужды, все спокойно.

Вадим устался на витрину с бутылкой шампанского. За просторным стеклом — тепло, светло, сияют кафельные плиты, туда нет доступа морозу и снегу. Но секунда, другая, и Вадим подмечает: чуть-чуть сдает, чуть-чуть тускнеет витрина. И в фонарях, что висят над мостовой, ощущается что-то натужное, утомленное. И надпись на крыше не просто с силой выплескивает



красные, синие, зеленые слова, в ней чувствуется зябкая дрожь. И кажется, что сам город медленно-медленно съезживается, становится теснее.

И Вадим бросился к «Москвичу», ухватился за ручку дверцы:

— Товарищи!.. Прошу... Подвезите!..

— Мы — не городское такси.

— Очень важно... Я бы не просил...

Мужчина обернулся:

— А куда вам?

— На химкомбинат.

— Тю-ю! Нет, не по дороге.

— На химкомбинате может случиться несчастье. Понимаете: несчастье!.. Даже человеческие жертвы...

Женщина и мужчина переглянулись, потом недоверчиво уставились на Вадима: косо надвинутая шапка, прямо над правым глазом на шапке темный мех прорывается седым клоком. И этот седой клочок над круглым, взволнованным лицом выглядит неуместно трогательно. Глаз из-под него глядит жадно, умоляюще — нельзя сомневаться.

Хозяева «Москвича» переминались в нерешительности. Женщина в потертой заячьей шапке, с блеклыми губами, застывшими, круглыми глазами. Он — добродушный здоровяк в новом мешковатом, негнущемся пальто.

— Мы и так опаздываем, — несмело сказала женщина.

Мужчина хмуро заглянул под рукав на часы.

— Садитесь, что ли...

Подбирая негнущиеся полы пальто, он неуклюже полез за руль.

— Как ехать? Через Прохоровку или через площадь Коммуны?

— Как угодно, только быстрее,

«Москвич» медленно тронулся.

Проплыли мимо выплясывающие валенки старика, девчата-школьницы переходят дорогу, загородили путь, Быстрей! Быстрей!

Свернули с проспекта. «Москвич» покати́л по узким улочкам и переулкам, добросовестно встряхивая пассажиров на выбоинах. Здесь не была в глаза праздничность, здесь — будничная ночь с раскачивающимися фонарями над заснеженными мостовыми.

Быстрей! Быстрей!

А хозяева «Москвича» озабоченно разговаривают:

— Вроде что-то стучит в заднем мосту. Ты слышишь?

— Нет, не слышу...

— Вот опять.

— Это, должно, скат бьет, на крыло намерзло.

Быстрей! Быстрей!..

Пять лет Вадим работает на химкомбинате, ни разу не отключали. День и ночь беспрерывно шел ток, день и ночь месяцами, годами, наверное, десятилетиями... Собственной турбины нет. Даже турбины! А как она нужна!

Год назад ставился вопрос о постройке ТЭЦ или хотя бы теплофикационной турбины в четыре, в шесть тысяч киловатт при химкомбинате. Отец выступил решительно против: не выгодно, не рентабельно, через год-полтора с двух сторон подойдут магистрали из соседних систем, они станут частью гигантского энергетического кольца, тогда уж аварии не страшны, незачем выбрасывать деньги на строительство карликов. Большинство молчало, и потому, что не выгодно портить отношения с всеильным хозяином электроэнергии, и еще потому — моя хата с краю — вопрос задевал не многих. Вадим при всех возразил отцу, директора заводов и комбинатов весело переглядывались, отец сидел с физио-

номией темней дубовой панели. После заседания он подошел — челюсть выдвинута, в глазах под бровями бешенство. Был короткий разговор, с этого началась ссора.

Нет резервного питания! Магистралю от соседей еще не подошли. Отключат — и комбинат задымит, как костер, на который плеснули водой. Быстрее! Быстрее!..

— Отчего это он словно бы запинается?

— Карбюратор пошаливает. Все никак не отрегулирую.

Машина выскочила на широкое прямое шоссе, с двух сторон освещенное фонарями дневного света. Отсюда — два километра до комбината.

Галка рожает... Роддом отключат раньше комбината... Цветы купил... Фонари горят — на комбинате нормально. Зачем он несется сломя голову? Повернуть бы..

— Клапан не стучит больше.

— Не стучит.

— И давление масла нормальное.

— Нормальное. Держится старичок.

Старенький «Москвич» мчался по прямому шоссе всю свою немогучую силу. А пустынное шоссе, освещенное блекло-голубым светом люминесцентных ламп, казалось каким-то мертвым, бесплотным — фантастическая дорога в неведомое.

Свет горит, Вадима раздирает надвое. Комбинат — Галка! Вперед, быстрее — он успевает! Назад! Впереди ему нечего делать...

Горят фонари, пустынно шоссе. Вдали замаячили огни комбината.

Сегодня у Василия Васильевича Столярского особый день. Ничего не случилось, ни хорошего, ни плохого ровным счетом ничего. Как всегда, с утра пришел на

диспетчерский пункт, ознакомился с дополнительным графиком, который присылают перед каждым праздником, связался со станциями, подтвердил: Чернушинская ГРЭС к 20.30 может остановить две турбины на ремонт. Сходил домой, пообедал, к вечеру, когда прожорливость города снова стала расти от секунды к секунде, уже сидел на диспетчерском. Служба...

День 31 декабря был для Василия Васильевича особенным, потому что накануне он отправил свою дочь в родильный дом, впервые отчетливо осознал: станет дедушкой.

Среднего роста, не полный и не сухощавый, с приличествующими его возрасту залысинами надо лбом. С его правильным блеклым лицом прочно срослось какое-то нейтральное выражение — не то вежливая замкнутость, не то просто природная робость, старательно прикрытая ничего не выражающей вежливостью. Всегда в свежей сорочке, всегда при галстукe, будничный костюм всегда отутюжен. Он всех называл на «вы», и к нему обращались почтительно. Встретившись с Василием Васильевичем, люди сразу же его забывали, знакомясь второй раз, спрашивали: «А мы, кажется, где-то встречались?»

В системе он работал тридцать лет, немногим меньше Ивана Капитоновича Соковина. И он не то чтобы был недоволен жизнью, считал себя неудачником: главный диспетчер, что ни говори, фигура, — нет, он просто сознавал, что пока не сделал того, что должен был сделать. Он, например, мог бы указать главному инженеру Колубко: в сетевых районах занижают мощности, отключаемые аппаратами по разгрузке частоты — опасно, может привести к неприятным последствиям. Он мог бы кое-что подсказать при проектировке новой районной подстанции... Мало ли чего мог бы, но Иван Капитонович, всемогущий управляющий, не всегда-то считался с

мнением Голубко, а у Василия Васильевича и вовсе советов не спрашивал, а заставить себя слушать, навязываться в советчики — не в характере Василия Васильевича. Пока он просто служил... Но великое дело — случай. Он может, думалось, заурядного человека века поднять так, что народы через века будут помнить его имя. Без случая гении тащут сапоги или же работают скромными бухгалтерами.

Он не мечтал выскочить в Наполеоны. Он просто терпеливо ждал чего-то, каких-то благоприятных обстоятельств, которые бы помогли ему развернуть свои скромные способности. Скромные! Василий Васильевич знает цену. Что-то сделать большее, чем делал ежедневно, что-то выходящее из его будней.

И однажды он, казалось, наткнулся на случай. Василия Васильевича послали в командировку на реку Берестянку, где в то время только еще начинали строительство крупной ГЭС. Удалось открыть неувязку в планировании: железнодорожная ветка, спешно строящаяся вновь открытым рудным залежам, влезала в зону затопления. Василий Васильевич сделал добросовестный расчет, написал докладную и отнес ее Ивану Капитоновичу. Тот должен своим влиянием убедить еще более влиятельных людей — государство может потерпеть миллионные убытки. Спасти миллионы рублей — вот долгожданный случай, вот звездный час Василия Васильевича.

Иван Капитонович прочитал докладную, возмутился — Лезут дураки на рожон! Наше строительство покрупнее, не нам, а им по нашему уставу плясать придется. — Пообещал: — Нажму, запляшут.

И нажал. Ветку перенесли, хотя и с некоторым запозданием. Кто-то полетел с работы, кому-то нагорело. На высоких совещаниях, куда не было доступа Василию Васильевичу, славословили Ивана Капитоновича Соко-

вина как человека прозорливого, болеющего не только за узкоместнические интересы, своевременно спасшего государственные миллионы.

Василий Васильевич не рассчитывал нажать для себя капитал, возвыситься на этом, но то, что равнодушно обошли стороной, не справились, не посоветовались, не вспомнили о его существовании, обидно.

Звездный час разгорелся, но не для Василия Васильевича. Он терпеливо стал ждать другого часа. Ждал до сего дня.

А нынче утром он проснулся и вспомнил о дочери, вспомнил, что в новом году его будут величать дедушкой. Уже дедушка, значит, жизнь, собственно, прожита, а он-то считал: все подступы, все подготовка к чему-то более серьезному. К чему? Когда? Пятьдесят лет за спиной...

В этот день Василий Васильевич шел привычной дорогой на работу, вглядывался в людей, в молодых, у которых впереди вся жизнь, совсем старых, среднего возраста и таких, как он, еще не старых, но уже почувствовавших близость старости. Много ли тех, у кого в жизни был свой звездный час? Большинство—это будни необъятного человечества. Умрут, и над их могилой напишут ничего не говорящие цифры: родился тогда-то, умер тогда-то. Шестьдесят, восемьдесят, девяносто лет, а чем они заполнены?

По сути, рушились надежды, исчезали мечты. Что страшнее этого? Но Василий Васильевич не чувствовал отчаяния. Он не исключение, он такой, как все. Плохо ли хватать звезды с неба, но что ж поделаешь... Грустно, конечно...

Есть в жизни дни, навсегда запоминающиеся не особыми событиями, не потрясениями, а какими-то духовными скачками. Такой скачок Василий Васильевич ис-

пытывал сейчас, накануне Нового года. Еще один штрих зрелости, еще одно открытие самого себя. Как это назвать? Шагом к старости? Может быть...

9

Диспетчерский пункт — просторный зал с высокими, от пола до потолка окнами. В его стенах две команды могли бы свободно состязаться в волейбол.

Для Василия Васильевича, впервые переступившего порог диспетчерского зала, когда из только что выстроенного здания маляры вынесли козлы и стремянки, было все здесь привычно. С годами росла система, с годами изменялся и сам диспетчерский пункт, переоборудовались пульта, появились новые приборы, но все эти новшества, как случайные перемены в пейзаже для сельского жителя, сразу же становились будничными.

Он толкал дверь со строгой и краткой надписью: «Вход воспрещен» и видел длинный стол, перед столом приборы — вольтметры, сумматоры. Он привычно кидал взгляд на стрелки: они, как одна, застыли, подавшись вправо, — признак, что все нормально на электростанциях, работающих за сотни километров от этого здания на городской набережной, все нормально на подстанциях, на линиях, что шагают гигантскими опорами через леса, через поля, болота, реки. Над вольтметрами и сумматорами торчат застекленные шкафчики частотомеров. Под стеклом на широкой бумажной полосе перья вычерчивают колеблющуюся линию. Линия пряма, покойна, значит, в разных концах энергетического района тяжелые роторы генераторов вращаются одновременно, как солдаты, идущие в ногу, значит, турбины делают положенное число оборотов в минуту.

У стола — кресла. У каждого кресла — коммутатор

набором рычажков, телефон, на раздвижных подставках селекторы.

Отступя к стене — другой стол, если его можно называть столом. Возле него нет ни кресел, ни стульев, за ним никто никогда не сидит. На столе нет места, чтобы положить бумагу, на каждом квадратном сантиметре — кнопка, переключатель, ручка, которая может вспыхивать, словно лампочка. Это пульт управления диспетчерской схемы.

Диспетчерская схема... Свежий человек при виде ее ощущает в груди восторженный холодок: вот оно, таинство, попавшее из фантастических романов в жизнь. Диспетчерская схема — волшебное окно на весь необъятный энергетический район, по территории лишь немногим уступающий Франции.

Она занимает всю огромную стену, голубой парадный многометровый щит. С него глядят круглые, квадратные, треугольные глазки, горящие в большинстве красным, кой-где зеленым светом. Они, словно звезды на небе, собраны в созвездия. Каждое созвездие имеет свое название — Чернушинская ГРЭС, Высоковская ГРЭС, Берестянская ГЭС, подстанция «Западная», подстанция «Восточная»... Каждое созвездие — энергетический объект.

До Высоковской электростанции триста километров, на поезде, считай, чуть ли не день езды. Но если на этой станции случится неисправность — упадет давление в котлах, отключится генератор, в ту же секунду, в долю секунды Василий Васильевич, сидящий перед голубым щитом диспетчерской схемы, узнает об этой неисправности часто быстрее, чем те, кто находится на станции. Подымается телефонная трубка:

— Что там у вас?

Круглые, квадратные, треугольные глазки начинают мигать, вместо красного света, возвещающего: «Все в

порядке», — загорается зеленый: «Принимай меры». Не красный, а зеленый цвет в этом доме — цвет тревоги.

Обычно перед щитом в зале сидит всего один дежурный диспетчер, если не считать телефонистки-оператора. Дежурный диспетчер, какой-нибудь Витя Шапочкин, молодой инженер, несколько лет назад оставивший студенческую скамью, — парень как парень, ярый футбольный болельщик, любитель оперетты, весельчак в компании. Таких, как он, можно встретить на улице на каждом шагу. Но едва этот Витя усаживается на свое рабочее кресло, как становится всесильным диктатором, слово которого — закон. Начальники электростанций и подстанций, убеленные сединами энергетики обязаны безропотно повиноваться ему, повиноваться, не рассуждая. Секретарь обкома или председатель облисполкома, самые влиятельные люди в области, не рискнут остановить какой-нибудь прокатный стан на металлургическом комбинате. Для этого они должны связаться с Москвой, получить разрешение из центра. А Витя Шапочкин может приказать: остановите! И остановят. Попробуй не подчиниться, шутки плохи с Витей Шапочкиным. Он может отключить от линии весь комбинат вместе с его прокатным станом. Он во время своего дежурства — бог и царь, тронный владыка в диспетчерском кресле. Разумеется, Витя Шапочкин должен проявлять свое владычество очень осторожно, а не по капризу. Он не имеет права ошибаться, так как за ошибки его диспетчерское высочество Витю Шапочкина строго наказывают.

Таких владык, как Витя, в подчинении Василия Васильевича Столярского — пятеро. Трое обеспечивают трехсменное дежурство, двое — в резерве, подменяют в выходные дни, во время отпусков, в случае болезни.

Сегодня ответственный день, поэтому сам Василий Васильевич сидит на дежурстве,

Три человека в просторном, ярко освещенном зале: Василий Васильевич, Витя, телефонистка-оператор в углу за коммутатором.

Витя Шапочкин — жесткий ежик волос, лицо в веснушках, не сходящих ни зимой, ни летом, крепкая шея стянута накрахмаленным воротником сорочки, бордовый галстук, костюм цвета кофе с молоком. Парень сегодня принаряжен, словно жених. Разумеется, он прямо с дежурства бросится праздновать Новый год. Витя листает журнал дежурств, позевывает, часто поглядывает на часы. Не очень-то сегодня увлечен работой...

Оператор-телефонистка старательно вычерчивает на длинных листах кривые потребления электроэнергии. Кривые загибаются вниз, нагрузка начинает падать — предпраздничное время берет свое.

Василий Васильевич, выбросив на стол руки с переплетенными пальцами, думает о своем — о Новом годе, который не обещает ему ничего нового.

Стрелки вольтметров и сумматоров устойчиво держатся на нужных делениях. Частотомеры втихомолку пишут свою нескончаемую летопись каждой минуты, каждой секунды. Схема, захватившая всю стену без остатка, сияет рубиновыми огоньками. Красный цвет — цвет порядка.

Тишина в зале, будничная, рабочая тишина. Василий Васильевич привык к ней, она располагает к раздумьям и... успокаивает,

Для того чтобы стрелки приборов не сходили с нужных делений, чтобы огоньки на схеме горели успокаивающим красным светом, а на диспетчерском пункте стояла рабочая тишина, за сотни километров на электростанциях мощные мельницы перетирают куски каменного

угля в тончайшую угольную пыль, могучие вентиляторы через ревущие форсунки вдувают их в раскаленные топки котлов — каждый котел величиной в десятиэтажную домину. Пар из котлов бьет в лопатки турбин, вращает многотонные валы, вместе с ними тяжелые роторы генераторов... Все роторы на всех станциях крутятся в одном темпе, все движутся «в ногу», несчастье, если кто-то собьется с «марша».

Пять станций обслуживают город. Четыре тепловые, работающие на угле, одна — ГЭС. Пять станций, разбросанных по разным местам.

В восточной стороне две: Соболянская ГРЭС, названная так по деревне Соболяны, которая вместе со станцией выросла в рабочий поселок с шоссейной дорогой, с железнодорожной веткой, с большим клубом, вторая — Рудногорская, возле растущего города Рудногорск.

Две станции, два созвездия на голубой схеме диспетчерского пункта. От них красные линии по сто десять киловольт каждая. Они упираются в третье созвездие — подстанцию «Восточная». От подстанции по схеме тянется линия желтого цвета — линия напряжением двести двадцать киловольт.

Бок о бок — две колонны металлических опор несут на себе по три витых провода толщиной со ствол молодой березки, длиной более двухсот километров, по долам и полям, по холмам и болотам; самые дремучие леса почтительно расступаются перед ними просторными, прямыми, как натянутая струна, просеками. Три массивных витых провода — энергетическая река вливается с востока в город. И только поэтому работают фабрики и заводы, только поэтому при щелчке выключателя на стене вспыхивает лампочка под потолком, только поэтому движутся трамваи и троллейбусы, прибывают к платформам электрички.

Но прозорливому городу мало одной энергетической.

реки. С северо-запада в него вливается вторая такая же линия, отмеченная желтым цветом на диспетчерской схеме. Эту реку питают машины трех других станций — Чернушинской, Высоковской и Берестянской ГЭС. Две реки, два энергетических очага, не затухающих ни днем, ни ночью, ни летом, ни зимой, — хозяйство Ивана Капитоновича Соковина.

Василий Васильевич вспомнил, что у Ивана Капитоновича, должно быть, уже начали собираться гости. Он снял трубку, набрал номер. Ответила жена Василия Васильевича, Бронислава Семеновна. Нет, Галочка еще не родила, нет, не звонили... Потом послышался басок самого Ивана Капитоновича: «Освобождайся, и сразу же к нам. Форма одежды парадная...»

Василий Васильевич положил трубку и взглянул на часы: всего десять минут девятого, час наверняка придется еще сидеть здесь.

Витя Шапочкин отложил в сторону журнал, тоже потянулся к телефону:

— Будьте любезны Верочку... Вера, алло! Ты готовишься?.. Как я? Сижу... Нет, не скоро. Смена приходит к одиннадцати... Ничего не поделаешь: служба. К полдвенадцатому буду на месте. Тут рукой подать...

Телефон возле Василия Васильевича зазвонил. Дежурный инженер Чернушинской ГРЭС запросил разрешение на остановку в ремонт двух генераторов.

Через несколько минут на схеме два круглых глазка, до этого горевших ровным красным светом, замигали зеленым, Чернушинцы остановили два генератора из пяти.

Витя Шапочкин не спеша прошел к схеме, щелкнул ручкой на пульте и навесил на только что мигавшие глазки по бирке с буквой «Т», означающие «текущий ремонт». Потом так же не спеша сел на свое место, двинул

над черепом своим густым ежиком и стал записывать это событие в журнал...

II

На сорок первом километре от подстанции «Восточная», если идти вдоль линии, и примерно в пятидесяти километрах от диспетчерского пункта стоят две опоры: одна на опушке леса, другая посреди поля. Эти две опоры ровно ничем не отличаются от тысячи других родных сестер. Они так же надежно покоятся на бетонированных фундаментах, с них так же свешиваются грузные гирлянды изоляторов, так же, как и все, они несут три массивных витых провода, каждый толщиной в добрый канат.

В эту ночь ветер наметал снег на фундаменты, свистел между железной арматурой, раскачивал грузные провода. И хотя по полю между двумя этими опорами проходила дорога, обычная, санная, от деревни к деревне, но кругом было пусто и тихо. Кому охота пускаться в путь, когда близится ночь да еще новогодняя. Быть может, лишь зайцы петляли по соседним сугробам или пробегал в стороне голодный волк.

Концы высоковольтных проводов крепятся зажимами. Один из таких зажимов качался в воздухе между двумя опорами. Он поставлен был много лет назад и, должно быть, ослаб, но продолжал держать.

И в этот глухой новогодний вечер, как позднее установили, ветер был не сильный — не бушевала пурга, не налетал ураган. Дул порывами обычный ветер, подымающий с сугробов снежную пыль. Но зажим не выдержал...

Толстый провод с треском, обронив на разглаженный ветром снег горсть крупных искр, распался. Стальной стержень внутри витого провода упруго изогнул его, и

конец перехлестнул соседние провода. Среди заваленного снегом спящего поля раздался грохот, пламя разорвало густую темень, и на снег посыпалась не горсть, а целая охапка крупных искр.

Короткое замыкание!..

А на подстанции, что стоит в сорока километрах от этого места, висят на щитах небольшие приборы. Крутятся валы турбин, клокочет пламя в котлах, идет ток по проводам, напряженно трудится огромная система, а эти приборы покойно спят. Годами, иногда десятилетиями они бездействуют, если кругом все благополучно, если не случилось аварии.

Но она случилась — короткое замыкание! И в то же мгновение релейная защита, маленькие приборы на панелях управления подстанции проснулись от многолетнего сна. Они послали сигналы — отключить линию!

Отключить! Иначе на электростанциях ток испепелит обмотки генераторов. Отключить! Иначе выйдут из строя машины. Отключить, чтоб авария, как пожар от брошенной спички, не разрослась дальше. Отключить! — безоговорочный приказ.

А выключатели... Нет, они не похожи на те, что привинчиваются к стенам в квартирах, под нажимом пальца послушно зажигают или гасят лампочку. Они не похожи и на рубильник на мраморной доске. Отключить высоковольтную линию, оборвать течение мощной энергетической реки не так-то просто. Рубильник или настенный выключатель просто бы сгорели в какую-нибудь долю секунды, превратились бы в раскаленный пар, и плохо было бы тому, кто держался за рычаг рубильника или нажимал на гашетку выключателя.

Выключатели высоковольтных линий — громоздкие машины, цилиндры в полтора обхвата, башни высотой с небольшой дом, заполненные маслом или сжатым воздухом. Там в масле происходит разрыв мчащегося

мощного тока, гасится вспыхивающий огонь. Руки человека ничего не касаются, выключатель действует сам.

Приказ: отключить! И выключатели повиновались.

И тут ожили новые аппараты.

Быть может, замыкание случайное. Быть может, ребяташки пускали змей с веревочным хвостом, и он застрял в проводах. Быть может, тонкая ветка, поднятая ветром в воздух, упала на провода и замкнула... Сгорит змей с веревочным хвостом, свалится обугленная ветка — нет нужды останавливать работу линии, обрывать на долгие часы течение энергетической реки, ждать, когда линейная бригада приедет, выяснит, в чем дело. Надо вновь включить линию.

Аппараты повторного включения сработали...

Но нет, не случайность. Короткое — устойчиво! И рележная защита вновь послала приказ: отключить! На этот раз — приказ окончательный.

Вся эта работа совершилась настолько быстро, что первая искра от вспыхнувшего пламени не успела упасть на снег — отключено, включено, вновь отключено. Умные аппараты сделали свое дело, предоставив людям самим расхлебывать кашу.

12

Именно в эту секунду во всем городе «осел» свет. По темнели витрины магазинов, погасли уличные фонари, захлебнулись кричащие огнем праздничные надписи. Разнаряженные ели на площадях, прожектора, освещающие катки, люстры под потолком, настольные лампы — все погасло, но только на секунду.

И так как свет вновь засиял, люди не обратили на это особого внимания.

— Ишь, пошаливает, — И снова занимались своими делами.

В эту секунду на схеме в диспетчерском пункте началась пляска огней. Почти вся правая сторона замигала, засияла тревожным зеленым светом. Стрелки вольтметров и сумматоров пошли влево. Перья частотомеров вместо прямой линии пошли чертить кривопадающую. В их летописи кончилось спокойное время, началась смута.

Две энергетические реки питали город — одна иссякла. А город еще прожорлив.

Василий Васильевич нажал под столом педаль селектора.

До сих пор этот просторный зал был отделен от станций, от подстанций на километры, десятки, сотни километров городскими кварталами, лесами, реками, озерами, сейчас расстояние исчезло, в любом конце громадной системы будут слышать голос Василия Васильевича, человека, сидящего на диспетчерском кресле, чье слово для всех — закон. Одно скупое движение, и Василий Васильевич соединил себя со всем подвластным ему миром.

— «Р-1»! «Р-2»! — произнес Василий Васильевич в темный раструб селектора.

Он назвал две городские подстанции, те места на подходе к городу, куда впадают энергетические реки. «Районная первая», «Районная вторая», от них во все стороны тянутся под землей кабели, освещающие город, питающие его заводы, фабрики, транспорт, радиостанции, телефон, телеграф...

— «Р-1»! «Р-2»!..

И в тишину диспетчерского зала ворвались — женский голос, звонкий, как у ребенка, другой — модулирующий баритон.

— «Р-1» слушает!

— «Р-2» слушает!

— Авария на восточных!.. Отключайте первые три очереди по аварийному графику. Бытовые фидера не трогать! Снять по тридцать тысяч!

— Есть! — женский голос.

— Есть разгрузить на тридцаты! — по-военному отработовал баритон.

Через секунду-две город станет потреблять на шестьдесят тысяч киловатт меньше. Но еще раньше, чем Василий Васильевич нажал рычаг селектора, по всему городу сработали сотни аппаратов-сторожей, аппаратов-охранников. Они безо всякой команды отключили какие-то незначительные объекты.

И свет восстановился. Он, казалось бы, с прежней силой лился из плафонов под потолком. Но опытный глаз мог бы заметить, что волосы электрических лампочек ритмично колеблются, словно с усилием, натужно дышат. В стрелках приборов нет той дружной, покойной ясности, что была минуту назад. Частотомеры продолжают чертить падающую на сторону линию, их летопись продолжает вещать о смуте.

— «Восточная»! — зовет Василий Васильевич,

— Подстанция «Восточная» слушает...

— Докладывайте, что там у вас?..

14

Умные приборы кончили самостоятельную работу, предоставив людям самим разбираться в запутанной истории. И люди принялись за дело.

Инженер, дежурящий на подстанции «Восточная», с которым сейчас разговаривал Василий Васильевич, сразу же включил новый аппарат — «искатель линии», или «ИЛ», родственник тех радиолокаторов, что во время войны отыскивают в воздухе неприятельские самолеты;

«ИЛ» послал волну, но не в воздух, а в провод. Волна метнулась по проводу, и стоп!.. Вместо металла — воздух, другая среда. Волна ударилась в нее и, как солнечный луч от зеркала, отразилась, помчалась обратно. На экране «ИЛа» заплясал зайчик.

Помчалась, ударилась, вернулась обратно — это длилось какую-то неуловимую долю секунды, так как целая секунда для волны — вечность, в течение ее она может семь с лишним раз обогнуть Землю по экватору, путешествовать до Луны.

Инженер на подстанции «Восточная» с присущей всем людям грубостью ощущений не уловил бы разницы во времени между запуском аппарата и пляшущим зайчиком на экране. Но аппарат подсказал ему: время такое-то. По времени сразу было подсчитано расстояние — всего сорок километров шестьсот метров до обрыва, аппарат может ошибиться на пятьдесят-сто метров, не больше.

Сейчас инженер с подстанции «Восточная» докладывал об этом Василию Васильевичу:

— Обрыв обеих линий на сорок первом километре близ деревни Митькин Двор, между сто шестьдесят второй и сто шестьдесят третьей опорой...

15

Время равнодушно двигается — секунда к секунде, а каждая секунда — прыжок к катастрофе.

Три станции работают сейчас на город, три станции не в силах насытить его. Город их душит, а задушив, сам станет умирать: погаснет свет, замрет транспорт, перестанет течь вода из кранов, останятся насосы, гонящие тепло по батареям квартир, дома начнут коченеть от холода.

А в городе — полмиллиона жителей. Полмиллиона в самом городе да полмиллиона в пригородах и по меньшей мере миллиона два в более мелких городах и

рабочих поселках, что питаются от тех же электростанций. Миллионы людей, они сейчас беспечно поздравляют друг друга: «С Новым годом! С новым счастьем!»

Неумолимо — секунда к секунде. Время — враг. Оно же может быть и спасителем. Через какой-нибудь час прожорливость большого города спадет, и тогда три станции без натуги насытят его — будет гореть иллюминация на улицах, будут зазывно сиять подъезды театров, переливаться огнями ели на площадях. Проскочить опасные секунды! Их нельзя растянуть, их только можно до отказа наполнить деятельностью.

И Василий Васильевич действует:

— «Западная»!

Послушный отклик из пространства:

— Подстанция «Западная» слушает.

— Отключить Семеновск и Разводино!

— Есть отключить!

В городе Семеновске — сто тысяч жителей, в Разводине — шестьдесят. Безвестный для них Василий Васильевич Столярский одним словом бросил всех во мрак. Бросил и сразу же забыл — надо действовать, время беспощадно.

А стрелки приборов продолжают падать. Большой город, главный пожиратель энергии, душит электростанции, большой город упрямо и слепо идет к своей катастрофе.

Секунда к секунде — нельзя раздумывать. Василий Васильевич схватился за дополнительный график.

Бумага с несколькими подписями. Сейчас во всей округе нет более могущественного человека, чем Василий Васильевич Столярский, но власть этой бумаги выше его власти. Он может сто тысяч жителей города Семеновска заставить сидеть в темноте, он имеет право остановить завод, но отступить от того, что написано в

бумаге, пренебречь ее запретами — нет, не может. Отступи — он преступник, пренебреги — будут судить.

Василий Васильевич держит ее перед собой, среди других подписей — подпись Ивана Капитоновича Соколина... Василий Васильевич всматривается...

Секунда за секундой шагает безразличное время. Сползают влево стрелки на приборах...

А в зале, в котором несколько минут назад стояла чинная тишина, — крики, призывы о помощи, требования, вопросы. В зал ворвалась лихорадочная жизнь обширной системы, которой грозит катастрофа.

— Диспетчерский! Говорит Чернушинская! Давление садится, долго не продержимся!..

— Диспетчерский! Директор «Красного инструментальщика» отказывается разгружаться!..

— Говорит Чернушинская! Вы слышите: давление садится!..

Василий Васильевич уставился в график.

Секунда за секундой... Миллионам людей нужно решение Василия Васильевича, сейчас, немедленно, в эти секунды, а Василий Васильевич медлит.

Праздничный график... Те направления, которые в обычные дни отключались в первую очередь, сейчас стояли под запретом. Он не имел права оставить без энергии химкомбинат, но запрещено отрубать и первый фидер: на нем ресторан «Восход», где готовятся к приему высокого гостя. Туда съедутся все областные руководители, корреспонденты газет, радиовещания, телевидения...

Нет ясности, не ждет время, падают стрелки приборов.

— Говорит Чернушинская! Насосы садятся! Отключайте!

Василий Васильевич очнулся, хриплым голосом ответил:

— Держитесь сколько можете.

— «Красный инструментальщик» не подчиняется!..

— Отключить!

— Говорит Чернушинская! — Голос в селекторе злой и решительный. — Через пять минут сяду на нуль!

«Сесть на нуль» — слова, равноценные слову «катастрофа».

Часть энергии, которую вырабатывает каждая станция, идет на себя. Мельницы, перетирающие уголь, насосы, вентиляторы, дымососы, компрессоры — все движутся электромоторами, все требуют питания. И если станцию высасывают настолько, что у нее не хватает тока на самоё себя, она гаснет, как свеча, которую накрыли банкой.

— Сажусь на нуль! — неистовствует голос. — Отключаюсь сам, на свою ответственность!

Инженер с Чернушинской ГРЭС спасает себя, бросает на произвол судьбы своего коронованного диктатора. Предательство поневоле, и судить за это его нельзя.

Новые огоньки замигали мертвящим зеленым светом. Чернушинская ГРЭС вышла из игры.

Минут через десять она наберет силы и вернется в строй. Но к этому времени выйдет Высоковская, следом за ней, израсходовав все запасы воды, Берестянская. Так начинается самое страшное — развал энергосистемы, полный развал! Долгие часы, а то и дни — тьма, окоченевший город с мертвыми заводами и фабриками...

Мигают зеленые огоньки на схеме. Лежит ненужная бумага перед Василием Васильевичем.

И отчаянные мысли лезут в голову, мысли без плотиз «Что делать? Что другие делают в таком положении?.. Самое верное: отдать приказ на «Р-1» — отключайте все! Отрубите полгорода... А график?..»

Листок бумаги, как колода на его пути, он бессиле ее переступить.

— Василий Васильевич! Частота сорок шесть с половиной! — тревожно кричит Витя Шапочкин.

У него красное, потное лицо, галстук отпущен. Он тоже не сидел без дела: вызывал машину для управляющего, позвонил ему на квартиру, соединился с сетевым районом, с дежурным Энергосбыта...

Частота сорок шесть с половиной вместо пятидесяти! При сорока девяти уже бьют тревогу! Катастрофа близка. И новый голос по селектору подтверждает этого:

— Говорит Высоковская! Падает давление! Разгружайте! Сяду на нуль!

«Что делают другие в таких случаях?.. И в Новый год... Дочка рожает... В темноте придется рожать... Может, уже родила...»

От толчка откинулась дверь, в пальто нараспашку, в шапке, сбитой на затылок, ворвался Иван Капитонович. За ним протиснулся Голубко.

Василий Васильевич с надеждой и отчаянием уставился на управляющего.

16

Витя Шапочкин включил магнитофон. Потом эти секунды будут с придирчивой тщательностью рассматривать, к ним будут возвращаться вновь и вновь, взвешивать каждый поступок по нескольку раз. Ни одно слово, ни один звук не должны пропасть—все ляжет на пленку.

Василий Васильевич, приподнявшись с кресла, начал отчитываться перед Соковиным.

— Устойчивое короткое... Нагрузка давит... Чернушинская самовольно отключилась. Разгружать не в состоянии. На всех фидерах бронь. Отключать целыми подстанциями не решаюсь...

Иван Капитонович слушает, тяжелая челюсть выдвинута вперед, плечи приподняты, сузившиеся зрачки впадают в опущенные веки Василия Васильевича.

Ни слова попрека или возмущения, молчит, и это

молчание у вспылчивого Ивана Капитоновича заставляет цепенеть не только Василия Васильевича, но и Витю Шапочкина и телефонистку в углу.

Только один Голубко, повернувшись широкой спиной к управляющему, говорит по телефону:

— Сразу же свяжитесь с аварийной бригадой. Пусть разложат сигнальные костры. Вылетаю к ним!..

Иван Капитонович угрожающе спокойно отчеканивает короткую фразу:

— Беру управление на себя!

Такова дисциплина диспетчерского пункта — этого святилища электроэнергии. Иван Капитонович — самая ответственная личность, но если он примется распоряжаться, Василий Васильевич имеет право послать его подальше. Василий Васильевич сидит у пульта управления, он отвечает, он и при своем начальнике остается диктатором, только его слово, и ничье другое, будет приниматься в расчет.

«Беру управление на себя!» — магическая фраза. Ею Иван Капитонович ниспровергнул Василия Столярского с диктаторов, сам стал им.

Увесисто ступая по паркету, подошел к освобожденному Василием Васильевичем креслу, но не сел: не было времени, — стоя взял трубку, нажал рычажок на коммутаторе.

— Энергосбыт! Кто дежурит?.. Снимаю всю нагрузку. Да, всю. Предупредите потребителей!

Подтянул к себе раструб селектора:

— «Р-1», слышите меня?

— Слушаю, Иван Капитонович.

— Полная разгрузка!

— Даже металлургический?..

— Вы слышали: по всем фидерам! Оставьте только насосные станции.

На него с почтительным ужасом смотрели три пары



глаз: стоявшего рядом Василия Васильевича, Вити Шалочкина, телефонистки, на секунду оторвавшейся от коммутатора.

Задранная вверх горловина селектора на раздвижной подставке тянулась к лицу Ивана Капитоновича, а лицо каменное, на нем живут только вздрагивающие ноздри короткого носа, голос жесткий... Сейчас Иван Капитонович делал страшное дело: отключал весь город, всех без разбору.

— «Р-2»!

— Слушает «Р-2».

— Полная разгрузка по всем фидерам.

— У меня на четвертом фидере — химкомбинат.

— Отключить и четвертый.

— Говорит Высоковская! Говорит Высоковская! Не выдерживаю нагрузки! Сажусь..

— Высоковская! — властно перехватил ее голос Иван Капитонович. — Начну загружать через пятнадцать минут... Чернушинская! Слышите?... Берестянская!.. Пятнадцать минут...

После слов «беру управление на себя» прошла всего какая-нибудь минута. Голубко только что кончил разговор, положил трубку, повернулся. В массивном теле исчезла обычная грузность. Легким шагом, поправляя на голове шапку, понес себя к дверям, по пути бросил Ивану Капитоновичу:

— Вертолет ждет. Минут через сорок буду на месте аварии.

Иван Капитонович кивнул головой.

В дверях Голубко столкнулся с высоким, статным человеком в легком не по сезону пальто, с военной выправкой — районный аварийный инспектор. Прибыть позже начальства в его профессии считалось предосудительной нерасторопностью, поэтому он с особым старанием выставлял вперед грудь, загодя многозначительно хмурил брови.

— Причины неизвестны? — спросил он с порога.

— Причины аварии не здесь, — встретил его Иван Капитонович. — Голубко, захвати его с собой, пусть там расследует причины.

Голубко взял за локоть инспектора.

— Пойдем, брат, не будем здесь мешать.

— Секретарь обкома на проводе! — крикнула телефонистка.

Иван Капитонович снял трубку:

— Алексей Митрофанович, долго разговаривать не могу. Тяжелая авария на линии. Задыхаемся. Вынужден на 15—20 минут отключить весь город. Управимся — позвоню.

За высокими окнами погасли огни — ни одного про света, непробиваемая тьма навалилась на стекла. А плафоны под потолком продолжают гореть так же ярко. Сейчас диспетчерский пункт питала та электростанция, что приютилась по соседству. Старый ветеран энергетики независимо от всех продолжал работать.

Без предупреждения, внезапно, как кара господня, как смерч или землетрясение, навалился средневековый мрак на избалованных техникой людей двадцатого века.

На улицах вспыхивающие и гаснущие фары автомашин разрывали тьму. Светофоры перестали работать. Милиционеры-регулирующие потеряли свою власть.

Радио, распевавшее: «Ах ты, моя дорогая...» — замолчало на полуслове.

Дрожащие неверным голубым светом экраны телевизоров свернулись, словно улитки.

Встали посреди улиц троллейбусы.

В магазинах, набитых покупателями, началась давка: все бросились к дверям, надеясь увидеть обычную, сияющую огнями городскую улицу.

Пригородные поезда, до этой минуты освещенные, стремительно рвавшие воздух, улеглись на путях.

На товарной станции маневровый паровозик, движимый замороженным паром, а не силой электричества, налетел на груженный состав. Машинист не мог видеть красный сигнал: вся блокировка железнодорожных путей перестала работать.

Авария случилась и на Спартаковской улице. Подымавшийся в гору трамвай пополз вниз, ударил другой трамвай, идущий следом.

В ресторане «Восход», где ждали знаменитого гостя, директор схватился за голову, а организаторы-общественники бросились к телефонам.

Но на центральной телефонной станции отключили телефоны общего пользования, оставив только особо важные линии. Там не знали, насколько затянется авария, и решили экономить аккумуляторное питание.

Поток новогодних поздравлений на телеграфе оборвался.

Город оказался в осаде, город из середины двадцатого века ухнул во мрак средневековья.

И во всем этом мрачном городе светились только просторные окна диспетчерского пункта. Только там еще жил дух шествовавшего по Земле века.

18

До того как Иван Капитонович отдал приказ об отключении города, в его квартире возле нарядной елки шел разговор о нем самом.

Борис Евгеньевич Шацких беседовал с Надеждой Сергеевной. Елочка, сложив на коленях руки, не шелохнувшись, серьезно вслушивалась. Бронислава Семеновна томила у телефона.

— Меня, например, всегда пугают неожиданности, чудачества жизни. — В голосе Бориса Евгеньевича тихое, уютное воодушевление, кроткие глаза глядят на Надежду Сергеевну прямо, открыто. — Каждый раз, как что-нибудь обрушивается, голодными собаками на меня набрасываются сомнения: а если не так, если ошибусь, а какие последствия?.. Вот собрались сейчас выпить водки, повеселиться, вдруг — авария, налаженная жизнь грозит развалиться. А Иван Капитонович, наверняка, чертыхаясь в душе, без особых оглядок, без излишних сомнений, бросается на эту опасность. Он ответчик, он главнокомандующий, с него потом больше всего спросят, но он целеустремлен; он и не думает о последствиях. Завидная дерзость, а это, я бы сказал, не что иное, как закваска великой личности. Только дерзкие люди двигают жизнь вперед.

— Великая личность?.. Ну уж, перехватили, — улыбается Надежда Сергеевна.

— Вы улыбаетесь, вы думаете: льстит. Но я же сказал — закваска, а это еще не пропуск в бессмертие, не

прописка на постоянное местожительство в последний том всемирной истории. Кстати, история очень часто занимается ничтожнейшими личностями. Что из себя представляли, скажем, Михаил Романов или Анна Иоанновна? Если в историю входят круглые ничтожества, то за ее полем зрения остаются армии людей, которые по характеру своему могли бы с полным правом носить титул выдающихся.

— Вы его знаете с парадной стороны, а он порой и суетен, и в узости его упрекают.

— Суетен?.. Может быть. Бальзак тоже был суетен, когда прилепил к своему плебейскому имени аристократическую приставку «де». А узость — простите... С узостью никак не соглашусь. Целеустремленность принимается за узость. На плечах Ивана Капитоновича в каком-то смысле благополучие не одного миллиона людей. Шутка ли... Вблизи трудно окинуть взглядом грандиозное, люди обычно видят частности, единичные случаи: такой-то Петр Сидоров обижен, такой-то Сидор Петров несправедливо обойден. Ворочая громадой, Иван Капитонович неизбежно кого-то придавит, неизбежно по чьим-то судьбам пройдут трещины, чья-то жизнь расколется. Что ж прикажете — над каждым случаем лить слезу, ломать руки, собирать, склеивать, нянчиться...

Елочка глядела на Шацких непримиримыми вопрошающими глазами:

— Скажите... Только откровенно... А папа... Мой папа тоже?..

Но тут внезапно погас свет.

Темнота была необычная, угрожающая, чем-то отличающаяся от той темноты, когда перегорают пробки. Сперва никто не понимал, отчего она выглядит так враждебно, пока Бронислава Семеновна испуганно не произнесла:

— Окна... Окон даже не видно.

Всегда за окнами оставались гореть какие-то городские огни, сейчас же на месте окон — мутные, расплывчатые пятна. Тот вечерний привычный город, который казался несокрушимым, как сама планета, исчез бесследно.

— Кажется, авария не на шутку, — произнес Борис Евгеньевич.

В темноте слабо шелкнуло, это Бронислава Семеновна сняла телефонную трубку.

— И телефон не работает, — сообщила она.

— Не работает! — изумился Борис Евгеньевич. — Ай, ай!.. Значит, весь город без света. Весь город!

— В кабинете у Ивана служебный телефон, — сообщила Надежда Сергеевна. — Он-то уж работает наверняка.

Бронислава Семеновна поднялась:

— Я позвоню в роддом...

Но Шацких остановил ее:

— Бесполезно. Если здесь телефон отключили, то и роддом вам не ответит. Ай, ай, неприятности.

Улица ожила, но странной жизнью. Загуляли в темноте огни зажженных фар, раздались сердитые гудки — захваченные врасполох автомашины жаловались и бунтовали.

Надежда Сергеевна начала ощупью что-то искать. На пол падали какие-то предметы.

— Никак не найду... Где-то тут должны храниться. С дачи оставались... Ах, вот они. Целы, оказывается.

На столе, стоя косо в стакане, затеплилась свеча. Упругий сумрак чуть отступил, в темном углу слабо мерцали игрушки на елке. Бессильный свет подчеркивал всеисилие темноты. И не верилось, что когда-то люди не знали по ночам другого света, при нем работали, беседовали, не отчаивались, даже переживали радости.

Минуту, другую все заворуженно глядели на хилый

язычок пламени. Елочк̄а, тряхнув волосами, подняла глаза на Шацких.

— Я хотела спросить... Вы считаете, что мой папа такой же, как Иван Капитонович?..

— Ваш папа... — Шацких почему-то испуганно оглянулся на окно, где вспыхивали и гасли огни автомашин. — Ваш папа... Иван Капитонович всегда берет все на себя, поэтому возле него нет людей, на него похожих.

— А все-таки, если б папа был на месте Ивана Капитоновича, он поступал бы так же? — упрямо допытывалась Елочка.

— Трудно сказать... Должен так поступать...

— Нет, не должен! — отчеканила Елочка.

Надежда Сергеевна огорченно закачала головой:

— Ах, молодежь, молодежь... Вадим — куда старше, а такой же...

В углу возле телефона раздались всхлипывания.

— Бронислава Семеновна, вы что это?

— За Галину боюсь... Вдруг да в эту минуту она там... Ивану Капитоновичу позвонить если.

— Хоть возносил тут Борис Евгеньевич Ивана, а он все же не бог. Все будет хорошо. Переждем.

— Не-при-ят-нос-ти! — вздохнул Борис Евгеньевич и почему-то не к месту сообщил: — Будут искать козла отпущения.

«Москвич» приближался к химкомбинату.

Комбинат стоял посреди обширного поля, даже ночью ощущалась его суровая, каменная оголенность — геометрически правильные квадраты цехов, вскинутые трубы, бетон, асфальт, железо, стекло, и ни одного деревца поблизости, ни одного жилого дома. Город не отстраи-

вался в его сторону, зелень чахла на подступах к нему; порой при случайных неисправностях комбинат выдыхал из себя облака серного газа, пагубно действовавшего на все живое.

Сейчас он стоял, освещенный огнями, среди снегов, открытый ветрам. Как всегда, он жил своей обособленной жизнью. Тридцать две огромные печи и днем и ночью, в будни и в самые большие праздники варили адское варево из серного колчедана. В суставчатых высоких башнях ежечасно, ежеминутно свершалось несложное химическое таинство — газ, выгнанный вентиляторами из печей, превращался в крепкую серную кислоту. Химкомбинат — из числа неустанных тружеников, которые не знают, что такое отдых.

Вадим и химкомбинат были ровесниками. Оба появились на свет в тридцатом году, обоим исполнилось по двадцать девять лет, но Вадим еще только-только входил в пору зрелости, а комбинат уже начинали величать стариком, ветераном промышленности. Вадим любил это монументальное, угрюмое сооружение первых лет первой пятилетки.

Эта любовь имеет свою отдаленную историю.

На тесной улочке Малая Прохоровка, в том доме, где вместе с папой и мамой жил Димочка Соковин, этажом ниже проживал Санька Горяев. Он был старше Димы года на два, невысок, с виду тщедушен, но его костлявых кулаков боялись все ребята со двора. Особенно доставалось Диме, потому что он сосед Саньки, потому что он маменькин сынок, потому что в школе его ставили всем в пример. Санька бил Диму, а Дима ненавидел Саньку бессильной иступленной ненавистью, ненавидел его независимую походочку, узкие вздернутые плечи, насмешливый взгляд светлых глаз.

На второй год войны Диме исполнилось двенадцать лет, а Саньке — четырнадцать. Дима носил ученическую фор-

му, мать каждое утро заворачивала ему в салфетки завтраки. Санька ушел в ремесленное училище.

С Украины, из-под Ростова, из-под Ленинграда, сюда, в тыловой город, эвакуировались заводы.

Однажды Дима вместе с отцом попал на такой завод. (Отец отвозил Диму к бабушке, по пути решил за-вернуть.)

Завод?.. Нет, это был не завод. Посреди поля стояли станки — ни стен, ни крыши, с серого неба моросил холодный осенний дождь. В стороне моталась на ветру голая ветла, по дощатым настилам женщины развозили детали, гудели моторы, металл с визгом въедался в металл, нудно моросил липкий дождь. Посреди поля — завод-беженец, завод, врастающий в место. Даже у машин сиротливый вид. Люди за станками с землистыми лицами, с красными негнуущимися руками, одеты кто в засаленную телогрейку, кто в брезентовый плащ, кто в рваное городское пальто. Они не подымали глаз, они работали, а дождь мочил их спины и головы, промозглый ветер дул между рядами станков.

У одного станка стоял мальчишка. Он был слишком мал ростом, и, чтоб доставал до зажатой в зажимы болванки, ему подсунули под ноги ящик. На спину наброшен кусок старой клеенки, по которой стекает вода.

— До зимы стены не успеют поднять... Среди снега на морозе... После войны я бы памятники таким ставил. — Отец взял Вадима за руку. — Пошли!

Дима узнал Саньку. Тот, как и все, кто стоял за станками, не подымал головы, ничего не видел, ему было не до Димки.

До сих пор Дима, как и любой мальчишка, страдал и томился: идет мимо время, и какое время! Девушки-партизанки гордо умирают на виселицах, солдаты прикрывают грудью пулеметы, летчики на подбитых самолетах

врезаются во вражеские колонны. Что ни день — новые подвиги, что ни день — новые герои. А он так медленно растет, по утрам мать заботливо укутывает ему шарфом шею, сует в карман завтраки. Несправедливо! Старшим счастье, для него все закрыто. Шарф на шею, завернутый в бумагу кусок хлеба с маргарином, «гляди же, осторожно переходи дорогу...»

А тут — Санька... Узкое, серое лицо, запавшие глаза, отрешенно-упрямый наклон головы с нахлобученной шапкой и эта клеенка... Нет, он не походил на героев, каких представлял себе Дима, — ни гордо вскинутого лица, ни железной твердости во взоре. Будет работать и зимой, в морозы, среди снега... Памятники ставить таким... Это же Санька, с ним дрались во дворе, старше всего на два года!..

Не прежняя детская зависть к счастливым, уже не мальчишеский хмель подвигов, Вадим в эти минуты впервые ощутил гневное чувство стыда за себя. Почему не стоит рядом с Санькой? Санька там — он здесь, он глядит со стороны. Со стороны, сбоку!.. Можно ли оправдать себя?

Наступила зима, а Дима продолжал спать в мягкой постели; отправляя в школу, мать, как всегда, укутывала ему шарфом шею, совала в карманы завтраки... Ему было всего тринадцать лет, а своя собственная жизнь казалась ему невыносимой, так как где-то рядом шла иная жизнь, где-то Санька стоял за станком среди снега.

Вместе с новым Санькой появилось новое всемогущее чувство — болезненная ответственность за других — чувство, обычно и в зрелом возрасте доступное далеко не всем. Вадим познакомился с ним в детстве.

От маминых завтраков, от мягкой постели он решил бежать. Нет, не на завод: отец отыщет, — а на фронт,

подальше. Ночь провел на вокзале, не сумел попасть на поезд. Утром милиционер привел его домой.

Рассказать все, что он чувствовал, передать словами свое смятение не мог ни отцу, ни матери, ни товарищам — слишком сложно, не под силу. Дима стал замкнут. Больше из дома не убегал, носил в душе: «Вот кончу школу, пойду на завод — не удержат».

Но в десятом классе он спросил себя: а больше ли пользы для других, если он бросит учебу, пойдет на завод рабочим? Он же не собирается учиться для того, чтоб урвать в жизни жирный кусок. А образование никому еще не мешало стать порядочным человеком. Вадим поступил в институт...

И вот химкомбинат...

В первую же неделю своей работы он столкнулся в башенно-кислотном цехе не с кем иным, как с Санькой. Сухое, жилистое тело под тяжело обвисающим мазутным комбинезоном, узкое лицо уже тронута резкими морщинами, светлые глаза навывкате, возле тонких губ независимая складочка, словно предупреждавшая: «Попробуй тронь меня голыми руками». Потертый, постаревший, начинавший уже лысеть, но все-таки живой и здоровый Санька, когда-то стоявший на ящике возле станка, Санька, накрытый от дождя куском клеенки, Санька, постоянно живший в памяти Вадима, направлявший его жизнь.

На окраине города, где трамвай поворачивает обратно, дощатый павильон «Пиво-воды». Там по мраморным столикам стучат пивные кружки, разворачиваются свертки с колбасой, голова к голове ведутся разговоры. Тут-то Вадим впервые сошелся с Санькой.

Начали издалека, с Малой Прохоровки.

— Помнишь, как ты мне жизнь портил?

— Бил, поди? — осведомился Санька и усмехнулся уголком тонких губ: — Не помню, многих тогда бил.

— А я-то тебя помню... — И стал рассказывать о заводе среди поля.

Санька потягивал пиво, с интересом разглядывал Вадима, слушал с любопытством, словно речь шла о дорогих сердцу, но все же обычных мальчишеских делах Малой Прохоровки.

— Что было, то сплыло. Я попозже тоже целился на фронт бежать.

— Уж, верно, совсем солоно пришлось?

— В войну всегда солоно было. Подрос, подвытянулся. На улице бабы пальцами показывать стали — вот какой лоб в тылу отирается. Кому знать, что ты и тут не в салочки играешь.

То, что он когда-то стоял за станком на морозе, не считал несчастьем, не считал и подвигом. Все, кто работали с ним бок о бок, то же пережили, то же свершили, и Санька так и не понял, что восхищает Вадима.

Все такие, как Санька, и он среди них. Не нужно объяснять никому сложные душевные перипетии, которые прежде не давали покоя, нужно только по мере сил действовать. Был туман, он рассеялся, и оказалось — можно не плутать, не мудрить, можно жить просто. На химкомбинате Вадим чувствовал себя лучше, чем в семье, здесь он обрел драгоценное ощущение: ты не один, здесь кончилось его затворничество.

Быть может, Вадим так же бы прижился и на любом другом месте, но судьба даровала ему химкомбинат. Он единственный, с ним кровно сроднился.

Сейчас Вадим глядел на огни приближающегося комбината с досадой и раздражением: «Какого черта я тащусь сюда? Без меня не смогут обойтись... Ах, Галка, Галка!..»

Он оглянулся назад на город. А город раскинулся

в темноте, обширный, как галактика; несчитанная россыпь звезд и звездочек, туманное скопление светящихся окон. И возле каждого окна — семья: мужа и жены, отцы и матери, сыновья и дочери, любят, ссорятся, радуются, страдают. Возле каждого окна — маленький мир. Сливаются окна в искрящееся облако, в Млечный Путь, слиты миры в один гигантский мир — большой город. Плывет в темноте человеческая галактика, где-то в ее гущу брошено и счастье Вадима. Где-то есть окно — попробуй различи его! — за которым сейчас мучается древней, как сама жизнь, мукой его жена Галка. Мучается, чтоб появился новый человек, сплелась новая судьба, в необъятной галактике зажглась новая неприметная звездочка — окно, отмечающее нозю семью, новый мирок в людской вселенной.

Ах, Галка, Галка!..

«Москвич», подтряхнув своих пассажиров, перескочил через железнодорожный переезд. Осталось каких-нибудь сто метров. Видны два фонаря, раскачивающиеся на ветру, и освещенное окно проходной будки. Лениво гуляют тени по расчищенному асфальту, по наваленному на обочины снегу.

И вдруг фонари потухли, скрылось теплящееся окно проходной. Утонул в темноте весь комбинат. Сквозь стук мотора доносился свист ветра.

Вадим снова всем телом повернулся назад. Город, человеческая галактика, пропал, словно его и не существовало на свете. Вместо туманного скопления миров — невыразительная, безликая чернота, вместо жизни — небытие.

Стучит в пустоте мотор старой машины, слышно — несет ветер...

— Стойте. Приехали! — приказал Вадим.

Он выскочил из машины и, пряча лицо от ветра, побежал к темным дверям проходной.

А в освещенном зале диспетчерского пункта на прежнем месте стоит Василий Васильевич.

Где-то отчаянно отбивается заперенный человек — дежурный энергосбыта? Несмотря на то, что большинство телефонов в городе безмолвствует, на него сейчас все же обрушивается ураган телефонных звонков.

— Делаем сложную операцию, больной лежит под наркозом, вскрыта грудная клетка...

— Закозление электропечей!..

— Загружены инкубаторы! Пропадают десять тысяч цыплят!

— Институт выращивает ценные сорта бактерий. Они погибли без подогрева питательной среды. Десять лет работы! Уничтожается десятилетний труд целого института!..

За стенами диспетчерского пункта сейчас каждую секунду — десятки несчастий.

Время от времени телефонные звонки прорываются и сюда. Телефонистка зовет Ивана Капитоновича:

— Председатель облисполкома!..

Иван Капитонович берет трубку:

— Да, да, авария... Причины?.. Выясняются. Что-то на линии...

— Из горкома партии!

— Да, да, авария... Выясняют. Там Голубко и аварийный инспектор.

— Из областного отдела внутренних дел!

— Да, да, выясняют... Точнее ничего сказать не могу. Потом...

Иван Капитонович, Витя Шапочкин, телефонистка — все заняты. Один Василий Васильевич стоит без дела. Он, проработавший десятки лет в этом зале, сейчас оказался посторонним человеком, лишней фигурой. Иван

Капитонович, так и не опустившийся в освобожденное кресло, шагающий вдоль стола, обходит его, как столб.

Иван Капитонович... Лицо тяжелое, темное, глаз не видно под насупленными бровями. И то, что он не расшвырялся, не обрушился с гневом на Василия Васильевича: «Завозились! Рассурили режим!» — дурной признак. Обходит, не замечает...

В тот момент, когда Василий Васильевич подымался со своего кресла, время было врагом. От секунды к секунде оно вело к катастрофе. Сейчас время — союзник. С каждой секундой станции набирают силу. Василий Васильевич не сумел повернуть время, это сделал Иван Капитонович. И как просто. Не надо особой проницательности, чтобы прийти к выводу: море ложкой не вычерпашь, раз нельзя спасти частичной разгрузкой, надо отключать весь город. Просто... Василий Васильевич это знал. Знал, а не решался сделать.

Может, власть Ивана Капитоновича делает его дерзким? Но сейчас-то он занял его, Василия Васильевича, место, пользуется его властью.

На столе, напротив кресла, валяется забытый листок аварийного графика, ненужный клочок бумаги. Там подпись Ивана Капитоновича, но он в него не заглянул...

И этот листок напомнил Василию Васильевичу, что он всю жизнь жил в опаске, всегда чего-то боялся — листка бумаги с официальным грифом, телефонного звонка в нерабочее время, а больше всего боялся гнева самого Ивана Капитоновича. Шел с оглядкой, не осмеливался ступить дальше отмеренного, а еще мечтал о звездном часе, о дерзновении, о проявлении каких-то дремлющих сил. Где уж дерзновение! Знал, а не решился...

Неожиданно Иван Капитонович остановился перед Василием Васильевичем. Невысокий, широкий, тяжелый, как степной камень, руки в карманах, шапка на самых бровях, из-под бровей — мутноватые, холодные глаза.

Как ни странно, но Василий Васильевич даже почувствовал облегчение. Все лучше, чем стоять столбом. Пусть гнев, пусть попреки, пусть оскорбительные нагоняи, пусть — какой бы то ни был — конец тягостному и ненужному существованию в этих стенах. Пусть ставит точку.

Слово, которого ждал Василий Васильевич и заранее невольно втягивал голову в плечи, было тяжелым и грубым, как булыжник:

— Слюн-тяй!

Василий Васильевич вскинул лицо, встретил давящий взгляд мутноватых глаз.

— Мозги из теста! Расквасился! Запорол! Опекуна-дядюшку бы тебе на работе!..

Не грубость, нет, ее бы можно перенести, но грубый удар попал на свежую рану. Ведь только что Василий Васильевич сам казнил себя за несамостоятельность, казнил без пощады, чувствовал себя оплеванным и униженным. Всему есть предел, дальше переносить унижения не вмоготу.

Василий Васильевич не опустил глаз.

— Я семнадцать лет под вами работаю. А под вами какая уж самостоятельность. — В тихом голосе — вызов.

Он возразил, и это самое большее, на что был способен. Но и такое выходило из обычных рамок.

Без того темное, с выпиравшей вперед челюстью лицо Ивана Капитоновича побурело. Он молчал, не зная, что ответить. Он никак не ждал отпора.

— Иван Капитонович! — окликнул Витя Шапочкин. — Из энергосбыта сообщают: на химкомбинате выброс кислоты.

Иван Капитонович отвернулся.

А Василий Васильевич продолжал стоять на прежнем месте. Разговор ничем не кончился, точка не поставлена. Василий Васильевич чувствовал себя разбитым: ноги подгибались, ломило спину...

На улицах по-прежнему сыплется безразличный снежок.

Прохожие ощупью добираются до троллейбусных и трамвайных остановок, привычно становятся там в тесные очереди, ждут, растерянные, подавленные, оглушенные.

Пешерный мрак полосуют огни автомашин. Освещенные автобусы среди темного города — сияющие острова света — кажутся выходцами из далекого, беспечного, утерянного мира. На них идут, как на приступ, с шумом и гамом.

На Спартаковской улице возле двух столкнувшихся трамваев мечутся люди, хлопают дверями телефонных будок. Ранен водитель трамвая, но нельзя вызвать «Скорую помощь».

К городскому аэродрому прибыл пассажирский самолет из Москвы. Но аэродром мертв, ни одного посадочного огня. Самолет делает широкие круги, самолет ждет в воздухе. Сколько ждать? Никто не может точно ответить. Пассажиры нетерпеливо поглядывают в черные иллюминаторы. Внизу темно, внизу необжитая земля.

Сыплется сухой снежок, подчеркивает неуютность города. Ветер гуляет между домами, словно в ущельях.

И уже из уст в уста, из подворотни в подворотню, из одной темной квартиры в другую потянулся слухок:

— Затемнили город-то. Налета ждут. Война-а!..

Тревожно в нежилеом темном городе,

Сыплет снежок...

В темной проходной Вадим сунул руку в карман и тут же вспомнил: он в праздничном костюме, пропуск остался дома,

— Нельзя, гражданин. На территорию вход посторонним воспрещен, — с вежливой твердостью заявил вахтер.

— Я не посторонний.

— Кто вас знает. Предъявите документик.

— Я главный энергетик комбината.

— Ничего не знаю. Я здесь человек свежий. Выкладывайте документик, я зажгу спичечку, чин чином проверю. А без документа вы для меня — подозрительная личность. Наша служба такая — всех подозревать.

Вахтер с явным удовольствием произносил слово «подозревать». В кои-то веки он получил возможность проявить бдительность.

— Черт возьми! На комбинате несчастье, а вы тут меня за рукав хватаете! Под суд хотите?!

Голос вахтера сразу же стал виноватым:

— Так ведь приказ... Я бы с милой душой...

— С дороги!

Вахтер отступил.

На территории комбината уже включили аварийный свет, не обычный обильный и щедрый, а редкий, придушенный, лишь местами робко разрывающий густой мрак.

В эту минуту воздух заполнился воем сирены. Железный вопль, где крик о помощи и бессильная угроза слились воедино. Задушенный комбинат, нагромождение печей, башен, корпусов, машин взывал вынимающим душу голосом. А посреди полутемного двора, в скудном освещении серые клочья дыма, словно сказочные драконы после тяжкого сна, устало потягивались, расправлялись, набирали силу.

Печи, у которых остановились мощные вентиляторы, тридцать две печи, наполненные раскаленным варевом из серного колчедана, начинали чадить. Надрывающаяся сирена звала рабочих от печей на волю.

Воюя короткими ногами с лапами пальто, бежал на Вадима человек. От кургузой фигуры наискось по

асфальтовой дорожке выплясывала нескладно длинная тень. Вадим узнал Хомякова, врача из комбинатовской амбулатории.

— Что случилось? — крикнул Вадим.

— На кислотно-башенном... Только что сообщили... Скорей!..

Вадиму надо было на заводскую подстанцию, но вой сирены, прерывистый крик Хомякова, его приказ — скорей! — толкнули Вадима, он бросился бежать плечо в плечо с врачом.

Сирена умолкла, навалилась оглушающая тишина.

— Что там? Выброс кислоты?

— Хуже... Азотная кислота попала в дренажные колодцы, в воду... Окислы азота... В башенно-кислотном и противогазов-то не оказалось под рукой.

Окислы азота пострашней туманных драконов, что выгибаются сейчас над темным двором.

— Беззаботны до преступности! — негодовал на бегу Хомяков. — Не вывели, не прекратили работы. И там тоже хороши...

Вадим вспомнил: отец выехал на диспетчерский пункт. Он отключил весь город, а с городом и химкомбинат. Но ведь пока солнце взойдет, роса очи выест. Отец — спаситель, а не преступник. У него не было другого выхода.

Вадим бежал и молчал: не место и не время спорить да доказывать.

Железнодорожная ветка с составом цистерн, кучи песку и бутового камня, тупые колена труб, снег, а над всем — серые клочья газа. Комбинат напоминает гигантское остывающее пожарище.

Из газового тумана, что стлался над заснеженным двором, выскочил человек, весь обвешанный противогазными сумками. Вадим подскочил к нему, взял из рук несколько сумок.

Возле башенного цеха горела в рефлекторе всего одна лампочка, и свет от рефлектора был неверный, зеленоватый, какой-то аквариумный. А кругом трубы, трубы, трубы, тугое сплетение чугунных труб — батареи холодильных установок. Они дышат теплом, напоминают о том, что каких-нибудь десять минут назад комбинат жил и трудился. Клепанные бока сборников тоже похожи на гигантские, вросшие в землю трубы. А сверху гнетет ночная тьма, в ней растворяются высокие стены корпуса.

Ворота в цех настежь разверсты. Одна их створка почему-то снята с петель, брошена прямо на обтаявший асфальт. Внутри корпуса, за распахнутыми воротами, — сухой призрачный туманец. От него-то и сыпанули сюда, на воздух, под открытое гнетущее небо люди.

Они стоят, сбившись в кучу, кашляют, ругаются, объясняют не успевшему перевести дыхание Хомякову:

— За всех нас в ответе... Мы-то, не долго думая, драпанули... А он заслонки закрывать бросился, остановить думал. Уже здесь хватились. И не сунешься с голой мордой, сам останешься куковать.

Несколько рук уцепились за противопогазы, висевшие на Вадиме. Один он оставил себе.

— Кто с ожогами, не толпись здесь! — командовал Хомяков. — Прямо на перевязки!..

Вадим поспешно и неумело натягивал на лицо маску. Вокруг него топтались, подавали советы:

— Подбородком зацепи.

— Не хлебал, знать, армейской каши.

— Проверь, прилегает ли возле ушей.

Стекла сразу же запотели, трубы и люди смутно проступали сквозь туман.

В цехе, за дверями, две лампочки маячили размытыми пятнами. Выпирали из темноты суставчатые бока ба-

шен. В пьяном тумане Вадим заметил одну спину, вторую — те, кто раньше успел надеть противогаз, шарили по цеху.

Больно ударился коленом о насос, привинченный к цементному полу, чуть не упал. Протер резиновым пальцем стекла — мир обрел ясность.

Бетонные основы, трубы вентиляторов, маслянисто лоснящиеся, преувеличенно громадные, от них по стенам и по полу косые и решительные тени, как и на улице, мрак над головой. Тишина. Только в стиснутом резиной черепе стучит кровь.

В этом бетонированном, скудно освещенном мире бесшумно слоняются жители — вместо человеческих лиц страшные своей тупостью хари, вместо глаз — площадки. Их движения кажутся вялыми, их спины согнуты — смотрят вниз, словно пытаются своими глазами-площадками пробить цементную толщу пола.

Один из этих жителей очнулся, замахал руками в сторону Вадима. И Вадим, припадая на ушибленную ногу, бросился к нему.

Сбоку от башни, за вентиляторной установкой, скорчился человек. Замасленный ватник сбился к лопаткам, открывая голубую рубашку. Лицо прижато к шершавому полу, нога в грубом ботинке неловко подвернута.

Товарищ Вадима нетерпеливо потрянул своей пульсирующей от дыхания маской: «Берись же!» Сам ухватился за плечи, Вадим взялся за ноги в грубых ботинках.

Тащили через цех, стараясь приноровиться к шагу друг друга. А к ним навстречу из всех углов и щелей потянулись жители, лишенные человеческих лиц.

На воле Вадим сорвал липкую маску. Потное лицо освежил морозец, а воздух, пусть оскверненный газом, но зимний воздух на секунду пьяно закружил голову.

Потерпевшего положили прямо на створку дверей. Люди подались к нему, оттеснили Вадима. Но когда он

отдыхался, его тоже потянуло взглянуть. Он протиснулся...

Здрав вверх острый небритый подбородок, раскинув ноги, на широкой дверной створке лежал в распахнутом ватнике, выставив на обозрение замусоленную голубую рубашку, Горяев Санька... Он сейчас казался еще меньше ростом — почти подросток. При отчаянно запрокинутой голове, при обреченной напряженности его шуйлой фигуры — равнодушное лицо.

Возле него ползал на коленях Хомяков, волоча по грязному асфальту конец свисавшего шарфа, ворчал в полной тишине:

— Травма черепа... Полез да сорвался... Головой ударился...

Бережно запахнул на груди Саньки телогрейку, встал хмурый, не имеющий сил оторвать взгляда от распросертого тела.

— Жить-то будет? — спросил кто-то робко.

Хомяков метнул гневный взгляд на голос и ничего не ответил.

Из просторного рефлектора лился неверный акварийный свет. Переплетения гнутых труб теснили люлей. Вадим стоял и мямл в руках маску противогаза.

Муж и жена посидели с минуту, прислушиваясь к тишине, такой необычной возле большого промышленного предприятия. Свет фар «Москвича» освещал глухую бетонированную стену. За ней — ни признака жизни. Работал мотор, хлестал снежной пылью ветер по стеклам...

И обоим стало не по себе от тишины, от темноты, от безжизненности. Что-то случилось за этой глухой стеной, что-то необычное, непонятное. Стена скрывала тайну.

— Аккумулятор посадишь, — сказала жена.

Он вздохнул, перевел ручку скоростей и, лизнув по стене, по плотно прикрытой двери проходной светом, развернул машину.

— Гляди-ка, — с тихим изумлением произнес он, — и в городе темно.

Она придвинулась к нему ближе.

Сзади таинственный, молчаливый огромный комбинат, впереди утонувший во тьме город. Плясали снежинки в свете фар, ерзал по стеклу «дворник». Одни в целом свете. Сыплет снег, мир виден лишь на глубину каких-нибудь десяти метров, в силу фар «Москвича» с изношенной динамкой.

Обметающий стекла и стены машины ветер лишь усиливал тишину, его свист напоминал, что кругом ровное снежное пустынное поле. И вдруг в тишине завывала сирена. Комбинат тревожно кричал за их спиной.

Он сбавил скорость. Она еще тесней придвинулась к нему.

— Что это?.. Что там такое?..

— Не знаю... — Голос у него подавленный. — У них химия. Может и взорваться что-нибудь.

— Ох, едем быстрее!

Но он не прибавил газу, а она не настаивала. «Москвич» продолжал тихо тащиться.

Они оба жили жизнью, которую принято похвально называть простой. И она действительно была проста, как то заснеженное поле, среди которого они сейчас ехали, — сколько ни оглядывайся ни вперед, ни назад, не на чем зацепиться. Он работал завхозом при автобазе, она учетчицей. Все силы души, тела, мозга, все их время до последней минуты уходило на то, чтоб себе заработать, себе купить, себя развлечь. И высшим жизненным успехом, приносившим им и радость и огорчения, был «Москвич». Радость, когда можно выехать за город, по-

купаться, рāскинутъ на траве скатерку с зāкусками, отмыть до блеска машину. Огорчения, когда нерасторопный шофер грузовика помнет бампер... Они могли думать и беспокоиться друг о друге, но никогда еще им не приходилось волноваться и думать за других. И не потому, что они были от природы черствы, нет, никто от них не требовал, да, пожалуй, никто особо и не нуждался в их помощи, так же, как никому и в голову не приходило упрекнуть их за простоту жизни.

И вот сейчас за их спиной кричал завод. Сейчас они, быть может, впервые помимо сознания были охвачены волнением за чью-то чужую непонятную беду. Обоих пугала эта беда, хотя прекрасно знали: им она не грозит никакими опасностями. Оба чувствовали неловкость, что уходят от этой беды. Кричит завод в снежной пустыне. Впереди темный, молчаливый город. Что-то стряслось, что-то появилось в эту минуту неизмеримо более важное, чем стучащий кардан или подозрительный писк в ступице колеса.

«Москвич» шел дальше, но шел медленно, неуверенно.

Сирена смолкла, снова — лишь стук мотора, порывы ветра, пустынно, тишина, тишина... Где-то впереди темной громадой стоит город, они едут к нему.

— А ежели света нет, то как же праздновать? — произнесла она растерянно. — А еще Ключикины заставили нас проигрыватель захватить.

Он ничего не ответил.

В их машине лежали свертки с закуской, бутылки с вином и водкой, проигрыватель. Они ехали встречать Новый год в компанию таких же, как и они, живущих простой жизнью. Устраивалась складчина: каждый захватывает закуску и выпивку. Они приносят проигрыватель, а пластинки обещали привезти Ключикины. Все было заранее сговорено и рассчитано, компания собиралась большая, а значит, веселая,

— Фомичевы опять пилить начнут: мы, мол, за городом живем, машины не держим и вовремя приехали, а вы...

— Фомичевы не приедут, — сердито оборвал он.

— Как это не приедут?

— Город-то без света, значит, и электрички стоят.

И она испуганно замолчала, впервые до конца поняв масштабность события.

Машина пошла еще медленнее и наконец остановилась у обочины.

— Ты чего? — шепотом спросила она.

Он молчал, смотрел вперед и наконец решился — тронул машину, начал заворачивать.

— Ты куда? — опять робким шепотом.

— А вдруг кого-нибудь в больницу отвезти нужно...

— Ох, беда...

Через несколько минут они стояли на прежнем месте, радиатором к стене, потушив фары.

— Пахнет чем-то, — сообщила она.

— Химия. Должно, газ у них какой пробило.

— И взорваться может?

— Химия же...

— Отъедем подальше.

— Там тоже люди. — Он кивнул в сторону стены. — Что мы, чище их, что ли?

И тогда она замолчала. Сыпал снежок, ветер сметал его с ветрового стекла. Они терпеливо ждали, прижавшись друг к другу в холодной машине. Чего ждали — ответить не смогли бы.

Вадим мял на руках маску противогаса.

На дощатой створке ворот, снятой с петель, лежал Санька с отчаянно заломленной головой, задранным вверх подбородком, равнодушным лицом.

Лежит Санька... Трудная история последних лет целиком вошла в его короткую биографию — города дымились развалинами, тракторы вместо плугов таскали пушки. Нелегко даются победы. Лежит Санька Горяев, один из победителей, закаленный возле станков под открытым небом, набиравший зрелую силу на продовольственных карточках военного времени. Лежит гражданин в промасленном ватнике.

Нелепая несправедливость: отец Вадима, чтобы спасти город, должен был убить Саньку. Нельзя винить отца!

Нельзя... Но человек-то мертв. Думал ли отец об этом, когда отдавал приказ? Отец не новичок в энергетике, он предугадывал, он знал. Но знать — значит ли думать? Он спасал положение, решал проблему. Проблема — бог! Проблема — Молох, требующий порой жертв.

В ту минуту, когда отец отдавал приказ, — он не был виновен. Минута безвыходная, замешкайся, не решишь, она так или иначе привела бы к более тяжелым катастрофам, быть может, к более тяжелым жертвам. Но ведь не только в эту минуту, а всегда отец считал: прежде всего проблема. Проблема — бог! Кто, как не он, возражал, чтоб тут, при комбинате, строилась ТЭЦ, он даже возражал против того, чтобы поставить турбину. Нерационально! Не выгодно! Не выгодно? Но какими выгодами окупишь теперь смерть Саньки Горяева? Лежит Санька, задрал подбородок...

Рабочие с четырех сторон подняли дощатую створку, понесли...

Стучали башмаки по мерзлому асфальту, в полном молчании шли люди. Санька, маленький, узкоплечий, степенно покачивался на своих слишком широких носилках. Сквозь газовый туман пробивался легкий снежок.

— Противогаз-то тебе, брат, больше не нужен? — спросил кто-то, потянув за сумку. — Дай отнесу.

Вадим молча снял с себя противогаз.

— А шапка твоя где?

— Шапка?..

Вадим дотронулся до головы, почувствовал снег в волосах. Наверно, он уронил шапку, когда натягивал противогаз.

Тут по всей территории комбината вспыхнул свет. Сразу же поднялось ночное небо, газ, плававший в воздухе, из грязно-серого стал белесым, даже безобидным на вид.

За кирпичной стеной корпуса, мимо которой они проходили, завыл вентилятор.

И Вадим очнулся: дан ток, кто знает — не случилось бы новой беды. Он сорвался с места...

Не во всем еще городе свет, а центр уже сияет огнями. Фонари щедро обливают мостовые.

Зеленые и красные глаза светофоров начальственно строго уставились на улицы.

И снова — ели в огнях, и снова над крышами — «С Новым годом! С Новым годом!»

Очнулись от глубокого сна троллейбусы. Ожили трамваи.

Вспыхнули сгни аэродрома. Круживший в растерянности самолет из столицы сделал последний разворот, пошел на посадку.

Он, величавый, сильный, многотонное сочленение металла, промчался с ревом над крохотным вертолетиком, куда неуклюже влезал Игнат Голубко.

Запело радио.

По всем каналам заработал телеграф: «Поздравляю с наступающим, желаю счастья...»

Снова понеслись пригородные электрички.

Вспыхнули экраны телевизоров, и диктор — местная красавица, самая популярная женщина во всем городе — с обворожительной улыбкой, как ни в чем не бывало, объявила:

— Продолжаем нашу передачу, прерванную по техническим причинам.

27

В квартире Соковиных вспыхнул свет. И в обилии этого света посреди сияющей скатерти продолжала гореть чуть оплывшая свеча. Казалось нелепым, что ее выцветший, болезненно слабенький язычок пламени секунду назад был центром маленького мира, властно притягивал к себе взгляды. Лица у всех, как после сна, — отрешенные, застывшие, ничего не выражающие.

Первой опомнилась Бронислава Семеновна, схватила трубку, поспешно набрала номер:

— Роддом!.. Это роддом?.. Извините. Хочу справится — Соковина Галина Васильевна... — Напряженное и заранее трагическое выражение. И вдруг обмякла, на глазах заблестели слезы: — Благодарю вас... Благодарю... Спасибо...

Подняла словно умытое лицо, сказала со счастливой усталостью:

— Девочка... При керосиновой лампе. Вес — два восемьсот...

Надежда Сергеевна широко и облегченно улыбнулась.

— А я что говорила? Ничего страшного. Я, например, при лучине родилась.

— Бронислава Семеновна, с меня — на первый зубок, — подскочил со стула Шацких.

А Елочка застенчиво произнесла:

— Поздравляю.

Темнота давила, темнота связывала, кончилось неловкое межвременье, каждый почувствовал покой и свободу, снова бросались в глаза цветы на столе. А тут еще вместе с возвращенным светом — радостное известие.

— Подумать только — новый человек. Род человеческий стал богаче на одного, сейчас, в эти минуты. В рождении ребенка невольно ощущается что-то историческое, — негромко говорил Шацких.

Бронислава Семеновна вытирала глаза.

— Какие вы все хорошие. Все... И вы, Борис Евгеньевич, славный.

Борис Евгеньевич смутился:

— Спасибо... С меня на первый зубок.

Зазвонил телефон. Бронислава Семеновна торопливо засунула в рукав носовой платок.

— Слушаем вас... — Ее голос сразу же смущенно осекся. — Я ничего не знаю... Иван Капитонович на диспетчерском... Ничего не знаю... Одну минуточку. — Бронислава Семеновна прижала ладонью трубку. — Поговорите вы, Борис Евгеньевич.

Шацких неохотно взял трубку.

— Да... Это Шацких, начальник планового отдела... Понимаете, я случайно здесь, совершенно случайно... Охотно вам верю... Полностью согласен... Но я не имею никакого отношения... Я ни в чем не информирован... Случайно... Что ж вы кричите, я ни в чем...

Должно быть, на другом конце в сердцах повесили трубку. Лицо Бориса Евгеньевича сразу же стало растерянным.

— Кто это? — спросила Надежда Сергеевна.

— Директор химкомбината Кущенко. У них там случилось что-то очень неприятное.

— Ох, беда! И Димочка там... Но что же он сюда-то звонит?

— Его с диспетчерским не соединяют, так он не знает,

куда и броситься. Грозится Ивана Капитоновича привлечь к ответственности и всех, кто вместе с ним... На меня напал... Я-то при чем...

— Ничего. Перебесится — пройдет.

— Нет, этот Кущенко — человек влиятельный, член бюро, депутат. Он может такой звон поднять...

— Вас-то не коснется, Борис Евгеньевич.

— Не должно бы. Но лес рубят — щепки летят, порой и прохожему в глаз попадает. Ивана Капитоновича грозитя привлечь...

— Иван и ответит. Вы-то чего боитесь?

Борис Евгеньевич отошел к елке в угол, подальше от телефона, сел, подняв плечи, притих.

— Давайте-ка поговорим о другом, — предложила Надежда Сергеевна. — У нас повеселей тема найдется. Вот что я предлагаю... Новый год Новым годом, а у нас сейчас своя радость. Принесу-ка я бутылочку, сядем потесней в кружок и выпьем за рождение внучки, а заодно и погадаем, как назвать. Елка, тебе вина, а я хочу крепкого, чтоб дочка у Димы крепкой росла. Что, если я раскупорю ваш коньяк, Борис Евгеньевич? Стоит ради такого случая.

Через минуту Надежда Сергеевна поставила возле телефона на маленький столик коренастую бутылку.

— Испробуем... Ну-ка, Борис Евгеньевич, придвигайтесь... Что за французский? Посудина, что баба задастая... Борис Евгеньевич! Сколько раз вас приглашать?

Борис Евгеньевич нехотя подошел — веки опущены, губы сжаты.

— Что с вами? — спросила Надежда Сергеевна. — Кто-то по телефону покричал, а вы расклеились. Стыдно.

— Со мной в последнее время действительно что-то происходит. Сам не пойму.

— Что же? Ну-ка, пожалуйста. Мужики в таких делах бывают тупы, а мы, бабы, понятливы.

— Странное, Надежда Сергеевна... До сих пор, пока Иван Капитонович не обращал на меня внимания, жил, как все, работал, ничего не боялся. На работу шел с легким сердцем. И вдруг — начальник планового отдела! Вдруг сам Иван Капитонович превозносит меня до небес. Мне кажется, теперь и глядят-то на меня по-особому. Казалось бы, удача, казалось бы, живи и радуйся. А я боюсь, что Иван Капитонович завтра опомнится и вместо того, чтоб хвалить, скажет: «Э, ты не тот, за кого тебя принимал». Боюсь, что кто-нибудь из зависти скажет что-либо Ивану Капитоновичу. Боюсь встречаться с ним по утрам, боюсь, когда зовет к себе, когда долго не зовет. И хвалит — страшно, и равнодушно говорит — страшно. Сам не пойму себя, Надежда Сергеевна. Сумасшествие какое-то. Вы смеяться будете, а я стал бояться, если кошка дорогу перебегает... А вот сейчас... Вы правы, вы тысячу раз правы: нечего мне бояться, за аварию я не ответчик. Но все же... Вдруг да невероятное... Иван Капитонович — матерое дерево, не так-то просто его свалить. Ну, а как свалят?.. При Иване Капитоновиче страшно, а без него...

Борис Евгеньевич стискивал на острых коленях сухие руки, голова его ушла в поднятые плечи, темные влажные глаза глядели в упор, умоляюще на Надежду Сергеевну.

Неожиданно он замолчал: со стороны внимательно разглядывали его светлые глаза Елочки. И под этим взглядом сразу же почувствовал: всем неловко от его слов, а более всех Надежде Сергеевне. Она слушала, опустив глаза.

— Что это я?.. Надежда Сергеевна, простите! Глупости...

— Выпьемте лучше за нашу внучку. — Надежда Сергеевна потянула полную руку к бутылке.

Лицо Бориса Евгеньевича вдруг собралось в гримасу, словно наткнулся на что-то острое. Он вскочил,

— Куда же вы? Садитесь.

— Нет, простите... У меня всегда так: то молчу, зажимаю в себе, то вдруг ни с того ни с сего выплесну, Ах, какие глупости!..

— Да бросьте. Садитесь...

— Нет, мне лучше уйти. Простите, не могу...

Борис Евгеньевич, высоко держа поднятые плечи, поспешно двинулся к двери, в дверях остановился.

— Бронислава Семеновна, а за мной все-таки — на первый зубок... От всего сердца...

— Странный... — обронила Надежда Сергеевна.

— Не странный, а жалкий, — возразила Елочка.

Бронислава Семеновна вздохнула, произнесла без осуждения:

— Взлетел высоко... Слава богу, Вася не лезет в чины — всегда у него все спокойно.

На большом столе при ярком свете оплывала свеча — в суматохе ее забыли потушить.

28

Иван Капитонович переключил свой телефон на дежурного энергосбыта.

— Докладывай!

— На товарной станции — авария. Маневровый врезался в состав.

— Жертвы?

— Жертв нет.

— Слава богу.

— На Спартаковской улице столкнулись трамваи.

— Жертвы?

— Ранен легко водитель,

— Легко... Еще полбеда. Дальше.

— А вот на химкомбинате, Иван Капитонович...

— Что?..

— Несчастный случай со смертельным исходом.

— Один погиб?

— Один.

Иван Капитонович закусил губу.

— Плохо. Что там стряслось?

— Точно еще выяснить не мог. Предположительно — выброс кислоты.

— Может, не смертельный?.. Они мастера припугнуть.

— Не знаю. Там еще сами не могут разобраться.

Василий Васильевич стоял на прежнем месте. Эти пятнадцать минут он не двигался. Очень похоже — как школьника, поставили в угол, в его-то годы... Он не нужен, он лишний здесь. Лишний! После стольких лет работы. В чем, собственно, его вина? Не решился перешагнуть приказ? А приказ был неясен. Как кибернетическая машина при неточной программе, застопорил.

Пятнадцать минут... Василий Васильевич обессилел, ноги онемели, кружилась голова, тошнота подступала к горлу.

Машина без взлетов и падений, не умеющая рисковать, машина с наперед рассчитанным рабочим режимом, она не оправдала надежд, теперь ее не замечают, ее еще не успели вынести за дверь, мирятся с тем, что занимает место, обходят стороной неодухотворенную вещь.

Возмутиться, бунтовать? Но против чего? Повинен, не справился. Надо было раньше бороться за право быть человеком. Бороться? С кем? С Иваном Капитоновичем? Разве он был ему врагом?

Присесть бы, нет сил стоять. В этой комнате нет стульев для гостей, есть только кресла перед пультом управления. Сесть за пульт в свое старое кресло? Сесть, чтобы отдохнуть?..

Иван Капитонович не ему, а Вите Шапочкину пору-

чил приступить к раздаче нагрузки. Станции набрали силу, но авария на этом не кончилась. Она только началась. В системе развал. Три станции друг за другом должны вступить в строй. Как выбившиеся из марша солдаты, они сразу же должны попасть в ногу. Разница только в том, что солдат, не попавший в ногу, не упадет тяжело раненным, а на станции могут перегореть обмотки генераторов, выйти из строя машины. А уж тогда — катастрофа с новой силой...

Нагрузка на гарантированную мощность. Витя Шапочкин не настолько опытен, как он, Василий Васильевич, Иван Капитонович поручил ему дело, не желает замечать Василия Васильевича, стоящего в одном шагу от десятилетиями насиженного кресла.

Сесть бы в это кресло да отдохнуть...

Иван Капитонович делает три дела сразу: говорит по телефону, ест округлившимися глазами приборы, слушает команды Вити Шапочкина по селектору.

— Чернушинская! Включайтесь!..

У Вити Шапочкина на красном лице напряжение и отвага. Он гордится, что ему в такой момент поручили командовать станциями.

Иван Капитонович следит за ним, бубнит в трубку:

— Аэродром! Аэродром!.. Отправили Голубко?.. Ага, уже вылетел. Отлично!..

Василий Васильевич стоит возле кресла, валится с ног от усталости. Уйти бы... Совсем... Нельзя! Не работающий, лишний, ненужный, а на работе. Не принадлежит сам себе, не в его власти двинуться с места.

Вспыхнул свет над наглухо закрытым въездом в химкомбинат. Вспыхнул свет, и сразу же исчезла таинственность.

— Надо ехать, — неуверенно сказала она.

— Пожалуй, — согласился он смущенно.

Ему теперь было стыдно: повернул назад, паниковал из-за того, что на несколько минут выключили свет.

Но он не успел повернуть ключ в зажигании. Откуда-то сзади, из темноты, вырвалась сияющая светлым лаком машина «Скорой помощи». Осев на рессорах, круто затормозила, хрипло и требовательно прокричала перед глухими воротами.

Выскочил вахтер в черной шинели, услужливо принялся открывать. Пугаясь в полах, бегом отвел одну створку, другую, встал навтыжку.

«Скорая помощь» тронулась было вперед, но вахтер вдруг суетливо замахал шоферу, и машина остановилась.

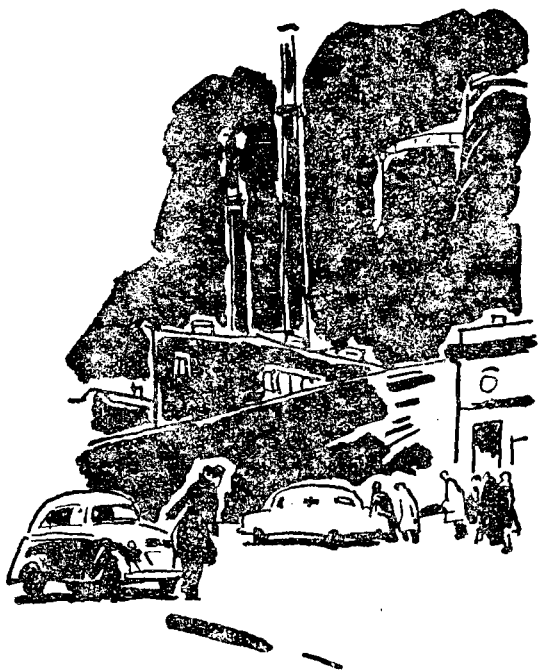
В распахнутых воротах показались спины рабочих. Толкая друг друга, неуверенно ступая, оглядываясь на «Скорую помощь», они несли какой-то широкий дощатый щит. Выскочил санитар в белом халате поверх пальто, толстый, но проворный. Из недр сверкающей лаком машины выдернул носилки...

Хозяева «Москвича» сидели ошеломленные, вытянув шеи, наблюдали. Рабочие тесно обступили «Скорую помощь», видны были только спины в ватниках и брезентовых робах. А среди них крутился санитар в белом.

С треском захлопнулась дверца машины. Хрипловато просигналив, «Скорая помощь» резко подалась назад, развернулась, на секунду подставив сверкающий бок под свет фонаря, рванулась в темноту.

Он неуклюже заворочался на сиденье «Москвича», толкнул дверцу, выполз.

Рабочие топтались, прикуривая друг у друга. На запыленном снегом асфальте лежала снятая с петель широкая створка дощатых ворот.



Он спросил, кивая в темноту, куда умчалась «Скорая помощь»:

— Ранен?..

Темнолицый угрюмый рабочий нехотя буркнул в ответ:

— Если б...

— Что, совсем?..

Рабочий промолчал, затягиваясь папиросой. Вполголоса заговорили другие:

— Молодой еще был,

— Молодой не молодой, а двое детишек на шее.

— Он днем мне сказывал: договорился с женой, к концу смены сюда подъедет. Переоденусь, мол, — сразу на праздник.

— Отпраздновал свое.

— А жене-то... Вместо праздника — похороны.

— Предупредить бы человека, подготовить, а то обухом по голове, легко ли...

— Ты знаешь, где он жил?

— То-то и оно, не знаю.

— Пищенко знает, в дружках ходят,

— Пищенко сегодня в первой смене.

— Эх, судьба-злодейка!.. Пошли, что ли.

— Жаль бабу.

Побросали в снег окурки, подняли с дороги створку, прислонили к стене, один за другим потянулись на территорию комбината. Остался вахтер. Он не спеша закрыл ворота, лязгнул щеколдой, громко высморкался, сказал со значением:

— Так-то... Был человек, да нету. Газом, слышь, отравился.

Рядом с тем местом, где стояла «Скорая помощь», валялось что-то темное, втопанное в снег ногами. Вахтер нагнулся.

— Шапку, гляди, обронили. С носилок упала, и не заметили...

Хозяин «Москвича» взгляделся и решительно подошел.

— Покажи-ка.

— Шапка-то фасонистая. Неплохо, видать, зарабатывал. Потеряли... Ну, ему уже ни к чему.

— Покажи.

Он взял ее в руки, стал пристально со всех сторон оглядывать. Суконный добротный верх, мягкий мех, мокрый от снега, бархатно ласкает пальцы.

— Чего шупаешь, словно купить собираешься? — поинтересовался вахтер.

— Иди-ка сюда! Погляди! — приглушенно крикнул он в сторону «Москвича».

Она долго выбиралась из машины, подошла, взглянула и сразу же побледнела.

— Его... Вот и метка.

Спереди на околыше в густом мягком меху седой клочок. Он был более жесткий на ощупь.

— Может, похожа только. Может, не он...

— Он... Как сейчас вижу: налетел на меня, румяный такой. Уж тогда метку заприметила.

Он продолжал бережно ощупывать пальцами седую отметину.

— Не знакомый ли? — сочувственно поинтересовался вахтер.

— Вот ждали его...

Нет, не знакомый, случайный, не близкий. Ждали его, беспокоились о нем. Снова помимо воли охватило властное желание: что-то надо сделать, чем-то помочь. Отбросить эту шапку, отвернуться, забыть, ехать на праздник, пить, веселиться — невозможно.

— Здесь о жене его говорили, сюда собиралась приехать. Предупредить бы как-то, чтобы не сразу оглушить...

— А как?.. Не знаем же, где живет.

— Помнишь, из какой двери он выскочил?

— Ну, помню.

— Вот и едем.

— Но дом-то большой. Ежели б знать номер квартиры...

— У них двое детишек...

Вмешался вахтер:

— Чего тревожить. Приедет, узнает, успеет нагореваться.

— Она праздновать собирается.

— Ну и что? Подождет-подождет, подумает, разми-нулись, поедет праздновать. И пусть себе... Так-то лучше.

Ему в эту минуту напоминание о празднике казалось кошунством. Праздновать, когда в дом уже вошло горе! Веселиться рядом с бедой! Это веселье потом всю жизнь будет казаться проклятием, злой насмешкой. Нет, он не хотел бы такого праздника. Пусть сразу горе, пусть беда без веселья. А кроме того, он *обязан* что-то сделать. Хоть малое, но что-то.

На морозном воздухе от вахтера тянуло запахом табака, на его помятой, круглой, как блин, физиономии ни сострадания, ни озабоченности, один лишь легонький интерес: ишь ты, человека нет, а шапка осталась. И у хозяина «Москвича» шевельнулось недоброе чувство: «Этот в яму не толкнет, а упади — руку не протянет».

— От дверей к дверям весь подъезд обойдем, — сказал он решительно. — Будем показывать шапку — узнают... Дом-то большой, а подъезд не так уж и велик.

Она не возразила, только вахтер с сомнением качал головой.

Через пять минут «Москвич» бойко бежал к городу.

30

Один район города за другим вспыхивал уличными фонарями и бесчисленными окнами. На катках в городском парке ударили в лед прожекторы. С легкой толчей начала налаживаться размашистая карусель из конькобежцев. Дед-Мороз на коньках подымал над высокой красной шапкой посох, отпускал шуточки.

Из котельных домов двинулось в батареи по квартирам тепло. Город не окоченел, не умер, вернулся к жизни.

Рассеялись очереди у остановок городского тран-

спорта. Только у будок уличных телефонов-автоматов кучки народа. Каждый, кого свалившийся мрак застал врасплох, спешил объяснить:

— Застрял. Никак не мог выбраться... Еду...

Рухнул средневековый мрак, снова середина двадцатого века. Свет рассеял тревогу жителей. Какое там затемнение, какая там война — басни! С Новым годом, друзья! С новым счастьем!

А на сорок первый километр, к пролету между двумя опорами, что числятся под номерами 162 и 163, прибыла аварийная бригада.

Посреди поля они принялись раскладывать костры. Вертолет с Игнатом Голубко с минуты на минуту должен опуститься к ним.

31

На диспетчерском Витя Шапочкин подскочил к схеме и на концах желтой линии повесил по бирке с зигзагами — линия заземлена, на ней ремонт.

Иван Капитонович наконец повернулся к Василию Васильевичу, сухо приказал:

— Садитесь! Продолжайте раздачу нагрузки!

Василий Васильевич вздрогнул. Его приглашают, когда все уже сделано, о нем вспомнили, чтобы соблюсти порядок: не должно же пустовать кресло. Он сядет в это кресло, а дальше... Станции работают, роторы генераторов «идут в ногу» — самое опасное позади. Витя Шапочкин справился...

Василий Васильевич не отвечал. Обводил взглядом зал: частотомеры продолжали писать летопись, и их летопись сообщала, смутное время прошло. Стрелки вольтметров и сумматоров держались твердо. Знакомое кругом и в то же время чужое, какое-то вокзальное, до тоски надоевшее, как в десятый раз повторенный анекдот,

— Или я не ясно сказал? Садитесь на свое рабочее место!

— Не могу... — тихо ответил Василий Васильевич, не двинувшись с места.

Густые брови Ивана Капитоновича удивленно поползли под мерлушковую шапку.

— Что-о?

— Не могу. Я, кажется... болен...

— И что же с вами случилось?

Брови опустились, но голубые глаза из-под них глядели подозрительно и недружелюбно.

Что с ним? Разве объяснишь! Этот человек, видно, не переживал и никогда не переживет такого. Значит, никогда и не поймет.

— Я болен, — повторил Василий Васильевич, повернулся и пошел к двери, чувствуя за спиной взгляд Ивана Капитоновича.

Окрикнет или не окрикнет? Прикажет остаться? Заставит работать?.. Если он нужен, если без него не обойтись в этих стенах, непременно остановит, силой усадит в кресло. Василий Васильевич медленно шел к двери, ждал окрика, но окрика не последовало. Василий Васильевич беспрепятственно дошел до дверей, толкнул их и вышел...

И все это было так непривычно, так странно, что Иван Капитонович даже не обиделся.

— Скажи ты... — бросил он ошеломленно.

А Василий Васильевич так же медленно, ступенька за ступенькой, спускался по лестнице и ждал... Если он нужен, непременно спохватятся, догонят, вернут. Но было тихо за его спиной.

На улице шел снежок, спешили прохожие, ярко светили фонари. Город быстро вошел в прежнюю жизнь.

В пальто, застегнутом до подбородка, в потертой пыжиковой шапке Василий Васильевич шагал к дому, внешне спокойный, чуть сутулящийся, с достойной медлительностью человека в возрасте. Очень похожий на сотни других прохожих.

В первую минуту, как только дверь закрылась за Василием Васильевичем, Иван Капитонович, не пришедший от неожиданности в себя, подумал: «Что-то не так. Что-то у него случилось...» Лицо замкнутое, без гнева, страха или досады, голос, как всегда, тихий, вежливый, но взгляд прямой, немигающий. Никогда в нем не замечалось ни вздорности, ни болезненного самолюбия. За семнадцать лет всякое случалось, не такие нагоняи получал от Ивана Капитоновича.

«Что-то не так. Что-то случилось...» — Мысль простенькая, рожденная недоумением; в ней не было ни жалости, ни сочувствия, а только невольное желание раскусить человека.

Но в следующую минуту Иван Капитонович спохватился: «Но ведь ушел! Какое он имел право? Бросил пост! Не подчинился!» И уже после этого «что не так, что случилось» его не интересовало. Налицо непорядок, возмутительное отступление от установленных норм. Ушел, надо же... Может, за локоток усадить в кресло? Сразу же стало все просто и понятно, сразу легко нашлось твердое решение: «На работе оставляю, а стружку сниму».

Решение найдено, точка поставлена, нет нужды больше размышлять о странностях Василия Васильевича. Нет нужды да и некогда.

— Иван Капитонович! Голубко на проводе!

В голосе Голубко, пролетевшем полсотни километров, знакомая усмешечка:

— Сижу на лоне природы — снег сверху, снег снизу, снежок по бокам...

— Давай, давай, не тяни, докладывай.

— Как всегда, гнилая супонь свадьбу испортила. Зажим ослаб, фазы перехлестнуло.

И эта привычная усмешечка в голосе, спокойствие Голубко, которое всегда нравилось Ивану Капитоновичу, сейчас вызвали острое раздражение — безоблачен, игрив, до развала допустили, в самый праздник вылезли на белый свет голенькими. Теперь не спишешь на техническую неоснащенность... Шуточки отпускает, уж не думает ли, что один Соковин за всех отгрызаться будет? Шалишь!

— Кто ж виноват? — сухо спросил Иван Капитонович.

— Тут инспектор с ходу в карьер бросился, парень ретивый, он откапает виновных.

Ивана Капитоновича взорвало:

— А ты не виноват? Кто должен следить за аппаратами разгрузки частоты? Господь бог их должен ставить, а не главный инженер? Стояло бы достаточно аппаратов, не случилось бы беды.

— Э-э, Иван, — с непробиваемым спокойствием перебил Голубко, — а кто меня за рукав хватал, кто уповал лишь на то, что магистраль с Урала тянут? Войдем в общее кольцо, спаяемся — море по колено. Тянули, да чуток не дотянули. У соседей линии по пятьсот киловольт, а мы застряли на двухстах двадцати. Я и в этом виноват? Не будем лучше друг на друга перстом указывать — недостойное занятие.

— Так ли запоешь, когда отвечать придется.

— В компании-то не страшно. Словом, докладываю: через час мы здесь кончим. Всел! Да, еще прось-

ба: истерикой тучу не отведешь, так что не вздумай отменять праздник. Промерз — крайняя нужда за столом погреться. Будь здоров, в этом году встретимся.

Не кладя трубку, Иван Капитонович попросил:

— Соедините с секретарем обкома,

— Соединяю...

— Алексей Митрофанович, докладываю: систему загружаем, город подключили весь. Семеновск и Разводино включим в течение десяти-пятнадцати минут... «Красный инструментальщик»... Пусть не шумит, у него ничего не случилось... Химкомбинат... Да, слышал... Да, это неприятно... Ничего не поделаешь, могло быть и хуже... Да, расследования ведутся... Да, после праздника разберемся в деталях... Да, в среду на бюро.

Витя Шапочкин кричал в селектор:

— «Р-2»! «Р-2»! Загружайте восьмой фидер!..

Последние отголоски недавней сумятицы.

Иван Капитонович по-прежнему в шапке и пальто: стоял возле пустого кресла, на котором должен был сидеть Василий Васильевич. Опасность миновала, с лица Ивана Капитоновича исчезло выражение вызывающей решительности, оно просто стало угрюмым, старым и усталым.

— Когда ремонтники сдадут линию, доложить. Буду у себя, — сказал он, застегивая пальто. — Машина подошла?

— Стоит у подъезда, Иван Капитонович.

Кивнув на прощание головой, он не спеша вышел.

Он не доехал до дому двух кварталов, отпустил машину.

Не надо судорожно беспокоиться, что проходит секунда за секундой, не висит над головой катастрофа, можно позволить себе роскошь — не обращать внимания

на время, можно побыть наедине с самим собой. Иван Капитонович шел по городской улице усталой походкой...

А кругом буйствовали огни — взрывались надписи, сияли карнизы, свисали над мостовой обремененные светом гирлянды. И спокойный снежок, спускавшийся с неба, подчеркивал радостную неистовость улицы. И люди, занятые собой, своими делами, люди, суетливо спешащие мимо, не замечали Ивана Капитоновича.

И можно бы радоваться вновь обретенному общему счастью, что нет больше пещерного мрака на улицах, что не сорван праздник. Можно бы и огорчаться, что эти минуты украли у людей, которые обгоняют и спешат навстречу, часть их труда. Можно бы, наконец, вспомнить о погибшем на химкомбинате человеке... Иван Капитонович как-никак — победитель, выигравший сражение нелегкой ценой, и уж он мог бы подумать о тех, ради кого он сражался.

Но Иван Капитонович ничего не замечал, ничего не испытывал, кроме усталости и плохого настроения... Надо же, обе цепи вышли из строя! Перехлестнуло одну и вторую... Двойная цепь, казалось, куда надежна. Чуть-чуть не успели к Новому году подтянуть магистраль. Тогда — не удельные князья, а частица великой энергетической державы, гнилая супонь свадьбы не испортила бы... Чуть-чуть... За это чуть натрясут тебе, Иван... В среду — бюро.

Прямо на тротуаре, загородив дорогу прохожим, остановилась компания. Невысокий паренек, выпустив из-под шапки чуб, наярывал на гармошке — блестящие лакированные планки, прыгали пальцы по ладам, надменно поднято серьезное лицо гармониста. Две женщины, уже в возрасте, и мужчина звонко отбивали по мерзлому асфальту цыганочку. Прохожие обходили их, оглядываясь с улыбкой.

— А рановато гулять начали. Гляди, братцы, до Нового года вас не хватит.

Иван Капитонович прошел, не обернувшись. Грызла досада: придется отвечать за нелепую случайность. Чуть-чуть... В среду — бюро...

Настроение еще больше испортилось, когда он стал подыматься по лестнице к своей квартире. Гости сядут за стол, надо веселиться: праздник входит в обязанности..., Василий-то Васильевич после стычки наверняка не придет. Значит, Бронислава Семеновна будет сидеть, как в воду опущенная, значит, Вадим опять начнет коситься... А Надя, добрый человек, целый год жившая между мужем и сыном, терпеливая посредница двух лагерей, станет притворяться перед гостями... Всюду мелочи, но они по-крупному портят жизнь. Попробуй отстранись от них. Говорят, для слона нет страшней зверя, чем мышь...

На лестничной площадке возле открытой двери в соседнюю квартиру стояли какие-то незнакомые мужчина и женщина. Иван Капитонович прошел мимо к своей двери. Но мужчина шагнул за ним.

— Извините... На одну минутку.

— Да.

У мужчины широкая, скуластая физиономия, не обмятое, колоколом сидящее пальто; он пытливо вглядывался в лицо Ивана Капитоновича. У женщины, вытягивающей шею из-за его спины, увядшее лицо и круглые, как у совы, глаза.

— Вам случайно не знакома эта шапка?

— Гм... Как она к вам попала?

— Это шапка вашего родственника?

— Это шапка моего сына. Но в чем дело?

Мужчина и женщина глядели на него с состраданием. От дурного предчувствия холодок побежал к концам пальцев, державших шапку.

Они нагнали Ивана Капитоновича уже на улице. Он метался по обочине мостовой, вскидывал руку навстречу пролетавшим мимо машинам. Машины не останавливались: мало ли кому в праздничный вечер нужно спешить, все такси сейчас нарасхват.

Мужчина помялся, подошел, стеснительно тронул Ивана Капитоновича за плечо.

— У нас есть машина... Садитесь.

Иван Капитонович взглянул очумелыми глазами, обмяк, покорно разрешил отвести себя к «Москвичу».

— Куда ехать? — спросил мужчина, устроившись за рулем.

Куда?.. Иван Капитонович очнулся. Он выскочил, чтобы ехать к Вадиму, к живому или к мертвому — к нему! Лишь бы быстрее! Больше он ничего не соображал. Сейчас — трезвый вопрос: куда ехать? Где Вадим? Ведь на химкомбинате его уже нет.

— В больницу Дерябина.

Он не знал, с какой клинкой связан химкомбинат, и назвал самую известную больницу в городе, куда обычно отправляли после всех несчастных случаев. И снова потянулись огни, замелькали прохожие, спешащие на праздник, отчаливающие с остановок троллейбусы, витрины магазинов, рекламы кино, новогодние ели — благополучный город, которому нет дела до оглушенного горем человека.

Иван Капитонович никогда не задумывался над тем, как он любит сына. В последнее время Вадим часто вызывал в нем досаду, даже гнев. Он считал: сын по молодости не понимает его. Вадиму не пришлось, как отцу, брать с натугой каждую ступеньку в жизни. Он родился в городе, с первого же дня ему светила электрическая лампочка, с детства привык к радио, к телефону, к

тому, что с наступлением зимы комнаты в доме сами собой становятся теплыми. Он родился в семье обеспеченного инженера-энергетика, к его услугам были книги, кино, театры, школа, институт. Образованность в нем появилась так же естественно, как с возрастом появляется растительность на щеках мужчины.

А он, Иван Соковин, родился в деревне Лапшевке. Начался уже двадцатый век, где-то рядом с извозчичьими пролетками бегал автомобиль, уже поднялись в воздух первые неуклюжие самолеты, уже где-то вертелись роторы генераторов, а в лапшевских избах трещали лучины, мужики ковыряли землю той сохой, какой ковыряли их прадеды при Иване Грозном и Владимире Мономахе. Самой хитроумной машиной считалась там мельница, которая, скрипя суставами, ворочала щербатые жернова. Половина изб топилась по-черному, зимой деревню наглухо заваливало снегом, были волки на окoliце, даже богатые мужики ходили в лаптях. Даже богатые, а Ванька Соковин, по-уличному Ванька Князь, — из голи перекатной, на семерых один зипун.

Если в мире начинался уже двадцатый век, то Лапшевка, дай бог, жила в пятнадцатом. Надо было пробиваться сквозь пять столетий. Пять столетий пройти не за целую жизнь, а за несколько лет! Это что-то значит. Не революция, так бы и жил он туземцем деревни Лапшевки, Прохоровской волости, уезда Никольского.

Ванька Соковин попал в армию. Там стали учить азбуке и уставу внутренней службы, таблице умножения и строевому шагу, политграмоте и укреплению долговременных огневых точек. Преподаватель по минному делу, чтобы дать хоть какое-то представление об электричестве этим парням из лапшевок, кузьминок, паленых горок, принес в класс электромотор. Два тонких, как бечева, проводка привернули зажимами к кургузой чугунной коробке величиной всего с берестяной

туесок. Внутри коробки — ни рычагов, ни колес, только мотки проволочек. Электромотор завертелся, заполнил комнату сдержанным шмелиным гулом. Ребята по очереди хватались руками за крутящийся конец стержня, хотели остановить, но стержень крутился, жег ладони. А преподаватель ухмылялся в армейские усы.

— Не осилите, братцы. В моторе-то пять лошадиных сил.

Пять лошадиных сил! В кургузом чугунном туеске! Пять лошадиных сил вливаются через два тоненьких, мертвых на вид проводка. Шутка ли, пять лошадиных!.. Без рычагов, без мускулов. Что там течет по проводкам, что там бушует внутри коробки, в пустоте, в воздухе, между какими-то катушками? Колдовство, недоступное простым смертным. Если бы постичь его, самому стать колдуном, побрататься бы с этой тайной силой, — душу б продал черту, жизни не пожалел. Но где там ему, лапотнику, с суконным рылом в калашный ряд!

Иван Капитонович стал простым рабочим на электростанции. Он работал возле огромной машины, один вал которой весил несколько тонн. Случилась на первый взгляд мелочь: в машинном зале открыли окна, стояла поздняя осень, трава была тронута первыми заморозками, дул ветер. И машина «простудилась». В этом нет ничего необычного, «простуда турбины» — бытующий термин среди энергетиков. Всего на несколько градусов упала температура, чуть-чуть охладился судорожно живущий металл, чуть-чуть, на долю тончайшего волоска, изменились зазоры, чуть-чуть, но и этого было достаточно. Могучая машина оказалась нежнее ребенка, от «простуды» она «заболела», прогнулся тяжелый вал, началась вибрация, турбину пришлось остановить и долгое время «лечить».

После этого на всю жизнь у Ивана Капитоновича

появилось отцовское чувство к капризному металлу, сочлененному в живой организм. Никто лучше его не мог понять скрытый норов в характере турбины, никто быстрее не мог предугадать каприз; он по-отцовски был нежен, по-отцовски требователен. И машины отвечали ему благодарностью.

Даже теперь, став управляющим, Иван Капитонович, глядя порой на высоковольтную линию, продолжал испытывать прежнее ощущение великой, не постигнутой им тайны. Три провода, не такие уж и толстые, всего с канат, но по ним бежит сила, которая вращает тяжелые маховики, тысячи станков, мчит груженные поезда, плавит в печах неподатливый металл, подымает грузы весом с деревенскую избу-пятистенки. И все в одно время, сразу. Уже не пять лошадиных сил, а миллионы. Если б эти силы вырвались из проводов, что висят над головой, и в самом деле превратились бы в лошадей, то несметные табуны заполнили бы землю, для людей не осталось места. Нет, все равно тайна, не вмещающаяся под черепом. Рядом с тайной всегда живет обожествление.

Слабый человек стал господином планеты, не так далеко то время, когда он станет господином солнечной системы. В этом растущем господстве высокий смысл его жизни. А для господства нужна сила. И эту силу человек нашел в машинах, без них прозябало бы на земле жалкое существо с немощными мышцами и тупыми зубами. Жить для великого господства над природой — значит жить для силы. Не только машина служит человеку, но и человек, если он хочет остаться самим собой, обязан служить машинам. Так думал Иван Капитонович, кто попрекнет его за это? Попрекнул родной сын. Он сказал тогда на совещании:

— Всякая экономическая выгода должна отсту-

пить, когда речь идет об охране здоровья и жизни человека.

Иван Капитонович после совещания задержал сына.

— Слушай, ты, гнилой гуманист! Не выставляй меня человеконенавистником. Я пользы людям принес больше, чем все поэты, идейками которых ты себя напичкал.

Взгляд Вадима в эту минуту был рассеян. Он ответил негромко:

— Я часто думаю, что если б не случилось революции, ты бы в своей Лапшевке, пожалуй, кулаком стал. Сам, может, ходил бы с грыжей, но уж работников-то наверняка в гроб вгонял.

Это было слишком. Сопляк, кулаков-то знает по книжкам. В самую душу плюнул. Они надолго расстались.

34

Больница Дерябина. Знаменитый профессор, основавший ее еще в конце прошлого века, и не мечтал, что она станет городом внутри города. Корпуса, корпуса, приземистые строения, улочки и тупички, покрытые девственным снегом.

Иван Капитонович, сжимая в руках шапку сына, пьяно блуждал, натываясь на подъезды, за которыми не было признаков жизни, пока не притащился к двери под вывеской «Приемный покой».

Врач-ординатор, паренек в белом халате, с профессиональной невозмутимостью уставился на запорошенного снегом Ивана Капитоновича. Нет, из химкомбината никого не доставляли, нет, ошибки быть не может: его бы непременно уведомили.

Он взгляделся в лицо Ивана Капитоновича и смутился.

— Присядьте, пожалуйста... Я сейчас схожу, позво-
ню, все узнаю. Присядьте.

Через десять минут он вернулся.

— Одиннадцатая поликлиника... Это на Второй
Кожуховской...

— Он там? — спросил Иван Капитонович.

Врач немного помедлил с ответом:

— Там... Одного доставили с химкомбината.

Одного доставили — всего одна жертва, — ошибки
быть не может.

И снова «Москвич» мчался по улицам города. Сно-
ва праздничные огни, люди, люди, машины...

На химкомбинате одна жертва! На диспетчерском
он это принял спокойно. Конечно, лучше бы совсем
без жертв, но если б наперед знал — жертва будет, все
равно бы отдал приказ отключить! Одна жертва оку-
пит многие беды. Одна жертва спасет положение...

И эта жертва — его сын!

Димка... Он стоит на коленях посреди комнаты в
одной ночной рубашке, насупившись, катает по полу
жестяную банку. Прокатит чуть-чуть, щупает пол ру-
чонкой — нет банки на прежнем месте, она перемести-
лась. Снова прокатит, снова щупает — нет. А он, отец,
смотрит на его сосредоточенную мордочку: этот трех-
летний шпингалет не развлекается, а размышляет, и не
о простых вещах. Нет банки, а секунду назад она бы-
ла только что здесь, ее можно было ощупать рукой,
теперь тут пусто. В детский мозг входит смутное по-
нятие пространства и времени. Беспомощный челове-
ческий детеныш...

Иван Капитонович стоял, пораженный: вот оно —
появился человек, появилась мысль.

Димка... Он вскоре тяжело заболел скарлатиной.
Думали, что не выживет. В одно раннее солнечное

утро он открыл глаза и с трудом разлепил слипшиеся губы:

— Ма-а...

Но мать его, не смыкавшая всю ночь глаз, спала. Иван Капитонович не удержался, взял его на руки и почувствовал в них, сильных, грубых, тяжелых, хрупкие косточки, теплящуюся жизнь. Голова сына висела на отцовском плече, а Иван Капитонович носил по комнате невесомое тело и холодел от ужаса: что, если б умер, что, если б не пришлось никогда ощущать рукой этих хрупких косточек, не испытывать счастья оттого, что горячая голова сына бессильно лежит на плече, возле его жесткой щеки.

Димка... Когда он подрост, пошел в школу, они отдалились друг от друга. Иван Капитонович постоянно был занят. Многое поэтому казалось непонятным. Непонятно, почему он убежал тогда из дому и провалялся ночь на вокзале. Непонятно, почему не остался в аспирантуре...

Одна жертва — Димка! Ручонка, катающая банку, мысль, родившаяся в детской голове, хрупкие косточки, жизнь, теплящаяся под ними, непонятные поступки — и все это в одном слове «сын».

Нет жизни, нет мысли, нет человека — в мире образовалась брешь! На звонок в дверь Надя не скажет больше: «А вот и Димочка пришел». Не появится больше он, розовощекий, сдержанный, мальчишка и взрослый одновременно. Какой-нибудь час назад он сидел над телефоном и ждал звонка. У него будет ребенок, и он не узнает об этом. Час с небольшим был человек — нет его. Невероятно! Невозможно! Бред!

Но шапка лежит на коленях. Его шапка, упавшая с носилок. Пальцы ощущают ласковый мех.

Нет Димки. Ценой его жизни он, отец, спас город

от катастрофы. Победил, бросив слепому случаю одну жертву, всего одну!

«С Новым годом! С новым счастьем!»

Для Димки этот год не наступит. Мирись: он жертвал..

35

Комната дежурного врача успокаивающе сияла белизной — белый стол, белые табуретки, белая кушетка, на белых стенах плакаты: «Берегите себя от гриппа», «Гигиена быта — залог здоровья»... Врач-женщина в безупречно белом халате. Под белоснежной кокетливой шапочкой темные глубокие глаза, одни из тех глаз, что могут остановить на улице, что потом долго вспоминаются с сосущим чувством утраты: почему не всегда эти глаза рядом, почему тебе не выпало счастье видеть их изо дня в день? Глаза женщины с великим талантом понимать, прощать, любить, самоотречься во имя доброты. Рядом с ними даже казенные плакаты «Берегите себя...» хватают за душу своей заботливостью: берегите себя, добрые люди, от гриппа, от нечистоты, от заразы, берегите себя и других.

Дежурная поняла сразу же, что лишние расспросы — ненужная жестокость. Она позвала сестру и тихо сказала:

— Проводите его, Тоня.

Сестра натянула поверх халата пальто, сменила у порога войлочные туфли на валенки, кивком головы пригласила Ивана Капитоновича: идемте. Аккуратные валеночки сестры звонко скрипели по запорошенному снегом больничному двору. У Ивана Капитоновича все тело было непослушным, каменно тяжелым, он не поспевал за сестрой. «Скрип! Скрип! Скрип!» — раздавалось впереди. Шаг, еще шаг, еще. Его ведут к Вади-

му. Сейчас он его увидит. А Вадим днем принес букет роз... А в детстве он очень любил мороженое... «Скрип! Скрип!..» Двор кончается, еще несколько шагов...

А за больничной стеной, за крышами соседних зданий, на какой-то улице по частям вспыхивала внушительная надпись: «Переходи улицу... (пауза) только.. (пауза) при зеленом сигнале светофора!» Надпись с минуту держится во всем своем блеске и цветистости, затем гаснет.

Повизгивание валенок впереди оборвалось. Тишина. «Переходи улицу... только...»

Ступеньки, углубляющиеся в землю, дверь в какой-то подвал. Сестра стоит и ждет Ивана Капитоновича, прячет лицо в поднятый воротник пальто. Она открыла дверь и крикнула:

— Степан!

В тусклом свете качнулась чья-то тень.

— Степан, это к тому, кого недавно доставили. — Кивнула головой Ивану Капитоновичу: — Проходите. — Сама торопливо повернулась, и валеночки быстро завизжали по снегу: скорей, скорей от чужой беды, от чужого горя.

Иван Капитонович спустился вниз, перешагнул за порог и увидел перед собой в тесном коридоре массивную фигуру.

Даже при скудном свете пыльной лампочки в проволочной сетке видна нездоровая желтизна опухшей физиономии, красные веки, широкий вздернутый нос, нацеленный ноздрями. И только этот нос не покрыт ржавой накипью жесткой щетины. Тупо и равнодушно уставилось подвальное существо на Ивана Капитоновича.

Иван Капитонович вспомнил глаза врачей. «Берегите себя...» — все это осталось там, наверху. Живые люди вынуждены отвести место для мертвых — оно здесь, А

перед ним привратник смерти. Он привык к человеческому горю. Ни капли сочувствия, ни вражды на водянистой физиономии...

И тут случилось невероятное — привратник смерти залебезил:

— Проходите... Вот сюда... Осторожно: ступенечка... У нас всегда все в полном порядке. Мы свое дело знаем... Можем приготовить, чтоб все было прилично и благородно...

Он гудел, неуклюже теснился бочком, а Иван Капитонович содрогался от ужаса и отвращения. Он понял: на нем добротное пальто, мягкие перчатки, шапка из дорогой мерлушки, а по опыту покойнический страж знал, что убитые горем люди не мелочны — щедры на подачки.

— Обмоем, приготовим, как живой будет выглядеть... Благородно.

Служитель распахнул дверь. Низкий каменный потолок с облупленной штукатуркой, голые стены, обширные дощатые нары. На них два тела в равнодушной — уже не назовешь бесстыдной — наготе.

— Проходите сюда. Отсюда виднее...

Ближнее к Ивану Капитоновичу тело — старуха. А другой... Другой не был Вадимом.

Во дворе Ивана Капитоновича оставили силы, он прислонился к шершавой промерзлой стене, преодолевая подкатывающую к горлу тошноту. А во дворе, засыпанном снегом, тишина. Устойчивая, покойная тишина, какая только бывает возле жилья, когда знаешь, что рядом за толстыми стенами в тепле и уюте сидят благополучные люди. Горело на этажах несколько окон. Стояли опушенные инеем деревья. Сквозь кружево чугунной ограды пробивался свет уличного фонаря.

А за крышами в небе: «Переходи улицу... только...

при зеленом сигнале светофора!» А где-то полыхают во всю силу новогодние огни, где-то встречаются нарядно одетые люди: «С Новым годом, с новым счастьем!» Все-таки на земле господствует жизнь... Неужели он может вернуться в эту жизнь? Неужели ошибка?..

Что-то упало под ноги. Иван Капитонович с трудом нагнулся. Шапка... Выпавшая из рук шапка Вадима. И сразу же прошла слабость, гулко забилося сердце. Иван Капитонович бегом бросился через двор, бегом взлетел по лестнице, ворвался в кабинет врача. С удивлением и страхом уставились темные глаза из-под белой шапочки.

— Раз... разрешите позвонить,

— Да, пожалуйста...

Сдерживая нетерпение, старательно набрал номер. Долго не отвечали. Наконец:

— Да-а, слушаем...

— Соковина Вадима... Соковина, пожалуйста.

Молчание. Остановилось сердце.

— Только что был. Боюсь, что уже ушел домой...

Ах, нет, вот он! Передаю трубку.

Усталый, до иступленной боли знакомый голос:

— Да. Кто это?.. Ты, отец...

— Дим-ка-а... Димка... Я еду к тебе сейчас.

Когда Иван Капитонович появился у дежурящего возле больницы ограды «Москвича», как муж, так и жена со страхом уставились ему в лицо. За эти минуты его перевернуло: глаза впали, скулы обострились, в губах появилось что-то невнятно беспомощное.

Уже услышав, что Вадим жив и здоров, что произошла ошибка, он и она, усаживаясь снова в машину, продолжали испуганно оглядываться на Ивана Капитоновича.

И вот они сидят в тесной машине. Сидят и молчат. А впереди в морозной ночи развернулся город — скопление бесчисленных огней.

— У Саньки уже двое детей, — обронил Вадим.

Иван Капитонович болезненно поморщился от этих слов. У Саньки — двое детей, жена. Иван Капитонович не помнит Саньку, вовсе не знает его жену. Но он знает теперь, что должна пережить эта женщина. Она сначала придет в покойно белую комнату дежурного врача, увидит плакаты на стенах: «Береги себя...», — испытает на себе взгляд — глубокие, добрые, беспомощные глаза, а потом спустится вниз, потом встретит ее тот из подвала... И уж она-то хлебнет до дна, ей нечего рассчитывать на ошибку... А светящаяся надпись над крышами домов будет зажигаться и гаснуть, сообщая, что следует переходить улицу только на зеленый свет. А жизнь кругом будет идти, как идет. А люди, не замечая ее горя, станут веселиться, пить, подымать здравицу... И придется беспокоиться о детях. Их двое...

Не знает, как выглядит эта женщина, не представляет ее лица, ее характера, но *он мог оказаться на ее месте!* Он понимает ее, болеет за нее. Понимает, как можно понять только себя. Болеет, как можно болеть своей собственной болью. Ни многолетнее знакомство, ни родство по крови не сделало бы ее ближе. Близкий!.. Отмахнуться, не пойти дальше сочувствия, пусть искреннего, пусть горячего, — нет, всю жизнь вспоминая, станешь вот так же морщиться. Близкий человек в понятной беде! Чем? Как помочь? Отыскать ее, новестить, сделать что-то? Что-то... Эх, филантроп!.. Иван Капитонович молчал. Он не знал, поймет ли его Вадим. Еще подумает: рассентиментальничался старик...

А на переднем сиденье у хозяев «Москвича» свой разговор.

— Дребезжит что-то...

— Тормоз ручной, говорил уж тебе.

— Ах, тормоз...

Город растет, огни распадаются на правильные контуры, выступают очертания первых домов.

Все четверо вылезли перед подъездом. У хозяина «Москвича» на широком лице счастливое облегчение. У хозяйки лицо смущенное, застенчивое и тоже счастливое. Они по очереди жмут руку Вадима. Он крепко, она робко. Они сделали все, что могли, для этого человека, гордятся им, словно спасли собственными руками. У Ивана Капитоновича появилось желание расспросить: где работают, как живут, не нужно ли чем помочь? Но он тут же спохватывается: помочь, отблагодарить, свести все к расчету — вы нам, мы вам, не останетесь в обиде.

— Спасибо, — говорит Иван Капитонович и жмет руки.

«Москвич» ныряет за огромный автобус, вновь появляется уже на середине улицы. Внутри него, наверно, вновь начался озабоченный разговор о тормозах, о колodках, о том, что «стучат пальцы»...

Случайные люди, ни Иван Капитонович, ни Вадим никогда, пожалуй, не увидят их больше.

Перед дверью Иван Капитонович вдруг остановился.

— Я должен съездить тут к одному.

— Куда это?

— Должен... Ты иди, я быстро вернусь.

Он открыл дверь и легонько подтолкнул в нее Вадима, мельком услышал:

— А вот и Димочка пришел!

Женщины сидели за маленьким столиком перед початой бутылкой — у Брониславы Семеновны красное, размякшее лицо, у матери по-молодому на всю щеку пунцовый румянец, Елочка уставилась сияющим взглядом.

— Димочка, счастье-то какое... — Бронислава Семеновна растроганно мигала, искала в шуршащем платье носовой платок.

— Ну, сынок, поздравляю. — Надежда Сергеевна пригнула голову Вадима, поцеловала его в лоб.

— Родила? — догадался Вадим. — Сын? Дочь?

— Доченька, Димочка, доченька...

— Мы уж тут ей имя подыскали. Дай-ка тебе налью. Держи же рюмку...

Но вместо того чтобы обрадоваться, Вадим опустил-ся на стул, держа дрожащими пальцами переполненную рюмку.

— А у нас... — начал он, и голос его сорвался, — у нас погиб... один... Санька Горяев. Я его с детства знал.

И сразу стало неловко, словно Вадим сказал что-то грубое, крайне неприличное. Бронислава Семеновна, так и не отыскавшая в шуршащих складках своего платья носовой платок, стыдливо опустила глаза. Но чувствовалось: она стыдится не за себя, не за свое нескромное счастье, а за бестактность Вадима. В глазах Надежды Сергеевны появился мягкий укор: «К чему это сейчас?» Только узкое лицо Елочки еще больше вытянулось, в нем появилась пытливая настороженность, граничащая со смятением.

Родилась дочь — эта радость свята, она чужда корысти. Мать и Бронислава Семеновна счастливы не столько за себя, сколько за Вадима, а он... Они не хотят знать того, что он сказал, не хотят слышать о каком-

либо постороннем несчастье. Мало ли на свете смертей, увечий, разбитых судеб, — нельзя же объять необъятное. Они хотят сохранить свою скромную радость, какую только что испытали за этим столом, они надеялись: он разделит, он отзовется...

Надежда Сергеевна ответила:

— Не поможешь... К чему?.. Одни пустые переживания.

Не поможешь? Пустые переживания? Саньке действительно ничем не поможешь, но переживания никогда не проходят бесследно. Они заставляют думать, они делают человека мягче, отзывчивее, глубже. А разве этого мало? Разве это пустое? Шарахаться от переживаний, стыдиться их — обкрадывать себя, а вместе с собой и всех.

Но Вадим не возразил матери. Она, эта трезвая, по-своему мужественная женщина, которую он любил, жила в четырех стенах, считала своей обязанностью оберегать эти стены от враждебности того безбрежного мира, что окружает их. Кто-кто, а она всегда делила счастье на свое и чужое. Не поймет,

Вадим поднял рюмку и сказал:

— За Галкино здоровье.

Выпил. И женщины повеселели. Они охотно поверили, что он понял ошибку, признал бестактность. Заговорили об имени. Надежда Сергеевна предлагала назвать дочку Таней...

Елочка подсела к Вадиму, пытаясь заглянуть ему снизу в глаза, помолчала, наконец шепотом спросила:

— Вы дружили?

— С кем?

— С ним.

— Не успел, Елка... А хотел бы.

— С детства знал и не успел подружиться?

— Так уж вышло. Наверно, был не совсем под стать ему. Не дорос.

— Ты всем под стать, — возразила она убежденно. — Я буду всегда тебе другом.

Узкое лицо, окруженное пышными волосами, тонкие черты и широко раскрытые светлые глаза, вопрошающие, тревожно ждущие, преданны бесхитростной, ясной, неумеренной детской преданностью.

— Ты — да. Я это знаю.

— Но тебе мало?

Да, одной преданности для дружбы мало, а Елочка большего еще дать не могла. Ей ли занимать то место, которое занимал в его жизни Санька.

— Я бы хотел быть для тебя таким, каким он был для меня, — серьезно ответил он.

И Елочка замолчала, задумалась о незнакомом ей человеке.

Задумался и Вадим. Надежда Сергеевна и Бронислава Семеновна говорили о том, какие нужно шить распашоночки, как лучше устроить Галку после роддома. Вадим думал...

Смерть и рождение — в этом не только прочность жизни, ее непрерывность, неуклонность развития, в этом и сложность бытия. Не было б рождения, не было б и смерти, не было бы горя, не по чему тогда измерять счастье, оно бы отсутствовало. Мир состоит из вопиющих противоположностей, во вселенной рядом с космическим холодом — раскаленная плазма звезд. Вадиму не на что жаловаться: есть работа, есть друзья, есть жена, красивая, любящая, любимая им, теперь есть дочь — все дано, но есть Санькины дети, которые остались без отца... Он, Вадим, часть того мира, который состоит из прочно связанных противоположностей. Считать себя счастливым — значит замкнуться в себе. А даже Бро-

нислава Семеновна живет не собой, а дочерью и мужем, даже она в себе не замыкается.

Пусть даже только переживания, если ничего другого не остается. Пусть будут переживания, они не проходят даром...

Что-то не так, что-то стряслось у Василия Васильевича, этого неприемного, покладистого человека. Что-то мучает его, что-то выбило из равновесия. Неужели это таинственное что-то так и останется внутри, никого не коснется?

За тот час, как они расстались, случилось потрясение, сдвинулись какие-то напластования в душе, она обнажилась.

Василий Васильевич сидел перед Иваном Капитоновичем в старенькой, вылинявшей пижаме, сквозь распахнутый ворот видна плоская белая грудь, выпирающие ключицы. Лицо непривыч-



ное, неслужебное — над правой бровью горькая морщина, веки тяжелые, под ними сухо блестят глаза.

Василий Васильевич молчит, а за его спиной окно, затянутое тюлевой занавеской, то вспыхивает, то тускнеет. И кажется, там кто-то равномерно бьет по раскаленному, мягкому, как воск, железу, удары мощны, но их не слышно. Наконец Василий Васильевич грустно сказал:

— Если б вы раньше пришли ко мне с таким вопросом.

— Когда раньше?

— Ну лет на десять раньше, даже на пять. Теперь поздно.

— Почему?

— Почему... Я только что звонил в роддом... Мы с вами — дедушки.

— Кто?..

— Внука... Дедушки, но разные. Вы кой-что успели, а я теперь спохватился: жизнь-то прожита, да не так, как хотелось бы.

— Не скажи...

— Только не надо говорить дежурных слов: мол, рано еще в резерв, мол, мы еще наломаем дров саженьями... Я только сегодня понял: как ни притворяйся перед собой, а в общем-то, где-то внутри — неудачник. А если б вы ко мне пришли раньше, попросили меня: распахни душу... Быть может, и моя жизнь, мой характер сложились по-иному.

— Почему ты ждал, когда к тебе кто-то придет, почему ты сам не распахнул душу? Сам, не дожидаясь?

Василий Васильевич невесело усмехнулся.

— Душу-то распахнуть можно только сочувствующему, а если к тебе сочувствия не питают, тут уж не распахнешься.

— У меня в системе сотни инженеров и служащих,

несколько тысяч рабочих. И хотел бы, да всем другом не станешь, всем в душу не залезешь.

— А я и не настаиваю, чтоб вы сами лично влезали мне в душу...

— Убей, не пойму — за что упрекаешь?

— Вот с неделю назад вы сказали, что на Чернушинской вторую турбину следует остановить — «гуляет лопаточка».

— Ну и?..

— То, что лопаточка в турбине гуляет, вы знаете, а кто возле турбины стоит?..

— Их тоже знаю. Золотюк, Шевцев...

— А много ли вы знаете об этом Золотюке? Фамилию, имя-отчество, что он халатен или старателен, сведущ или несведущ в работе. Кроме рабочей оценки, вы ничего не знаете. А ведь это лишь крохотная частичка человека. Крохотная!.. У любого из нас есть свои привязанности, свои взгляды, свои мысли и мнения. Интересует вас, скажем, мнение Золотюка или, скажем, мое? Нет, Иван Капитонович, какое вам дело до чьих-то взглядов и мнений. Лопаточка гуляет — это куда важнее. А ваше равнодушие в вас одном не остается, оно, как зараза, к другим переходит. Управляющий Соковин не интересуется, чем жив инженер Скопцев, Скопцеву плевать на механика турбины, ведь с него требуют — лишь бы не «гуляла лопаточка», а механик турбины Золотюк равнодушен к зольщику Иванову. Энергосистема... Система, само слово говорит, общее, взаимосвязанное. Машины-то действительно и связаны и объединены, они-то органически живут в системе. А люди?.. Люди — сами по себе... Вас называют железным организатором. Ваш железный талант сковал стальную цепь, она достаточно крепка, не часто ломается, а человеческой натуре в ее стальных кольцах, простите, тесновато. И что самое неприятное, порой этого не подозревают,

считают нормальным. Я тоже считал... только сегодня что-то понял...

Иван Капитонович сидел, пригнув голову. Вспыхивало и тускнело окно, вспыхивал и гас новогодний кокошник на крыше соседнего дома.

Минут через двадцать они шагали по улице. Оба молчали, оба оглядывались назад, в прошлое, каждый в свое, оба были недовольны им.

И вот накрытый стол — искрится посуда, пламенеет перец на блюде, бутылки дружно нацелились в люстру, которая сияет ровным, надежным светом. А посреди стола, как гимн семейного благополучия, памятник чревоугодию, священная жертва празднику — на широком блюде поросенок с петрушкой в зубах.

Игнат Голубко успел вовремя. После мороза и ветра у него пышущая багрянцем физиономия, от него вкусно пахнет дымком костров, под столом он прячет ноги в теплых вязаных носках, взятых напрокат у Надежды Сергеевны: выскочил в щегольских туфлях, а пришлось бродить по колено в снегу. Над ним, как и над Иваном Капитоновичем, нависла гроза, впереди — невеселая полоса отчетов, оправданий, нагоняев, выговоров, а быть может, куда больших осложнений. Главного инженера не обойдут стороной. А Голубко благодушен...

«Учи плясать валенок... Что будет, то будет, двум смертям не бывать... Зачем огорчать себя самому, когда это сделают другие...» Он вожацки поглядывает на стол, потирает руки.

Елочка исподтишка следит за всеми, ревниво ловит выражение каждого лица: как относятся к ее отцу, по-

чему никто не считает его героем? Ему же больше всех досталось: летал куда-то, мерз, бродил по снегу — первый спаситель. Обо всем остальном она не догадывается. Иногда ее взгляд встречается со взглядом Вадима.

Для Вадима сегодня все выглядит иначе, чем вчера. Новыми глазами он смотрит и на Елочку. Ей еще предстоит стать человеком. Еще неизвестно: что в ней заложено, наделила ли ее природа большим умом или особым талантом? Но одно есть несомненно — потребность искренне сочувствовать другим, не оставаться равнодушной. Обычное, немногое. Но и это немногое люди порой теряют с возрастом. Он, Вадим, ответствен за то, чтобы Елочка не растеряла. Ответствен, как друг, как простой знакомый, как человек. Ответствен перед памятью Саньки.

Накрытый стол — сквозь янтарь заливного проступает нежное мясо севрюги, обширная супница отягощена салатом под майонезом, зеленый горошек и алая морковка на нем, как драгоценные камни, — не салат, а шапка Мономаха.

Надежда Сергеевна ходит озабоченно вокруг своего творения, что-то передвигает, что-то подправляет — последние штрихи художника.

Бронислава Семеновна с затаенной тревогой поглядывает на мужчин: они не в себе, что Василий Васильевич, что Иван Капитонович. Сидят, дымят папиросами. молчат, словно не праздник впереди, а ответственное совещание. Ну, да понятно: такая оказия — и в Новый год...

Накрытый стол, над бутылками поднялись вазы с мандаринами, в них солнце юга, запах неведомых портов, романтика книжек, читанных в детстве. Надежда Сергеевна глядит на часы и вскидывает голову, как трубач, собирающийся подавать сигнал к атаке.

— К столу! К столу!

Но в это время звонят. Кто там еще, незванный, непрошенный? Ах, это Борис Евгеньевич Шацких. Он входит бочком, смущенно глядя в пол, сторонится Надежды Сергеевны, пробирается в уголок, мельком кидая взгляд на Ивана Капитоновича.

— К столу! К столу! Опоздаем! До Нового года — пять минут!

Пять минут до Нового года, и на Ивана Капитоновича наступают блюда заливного, царская шапка салата, бутылки, поросенок с петрушкой в зубах. И у него мелькает в уме: «Выпивка.., Как это странно, однако...» Время, которое наплывает на тебя, — слишком значительная вещь, чтобы встречать его лишь томленным в духовке поросенком и батареей бутылок, которые надлежит осушить.

Через пять минут Новый год, триста шестьдесят пять новых дней. Как их прожить? Стоит подумать.
